

Грэм Грин

Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой

Кто хоть раз попотчевал обедом друзей, тот испытал, каково быть Цезарем. Герман Мелвилл

1

По-моему, я ненавидел доктора Фишера больше всех, кого я когда-либо знал, а его дочь любил больше всех женщин в мире. Странно, что мне с ней вообще довелось встретиться, не говоря уже о том, чтобы жениться. Анна-Луиза и ее отец-миллионер занимали большой белый дворец в классическом стиле на берегу озера в Версуа, в окрестностях Женевы, а я работал переводчиком и письмоводителем на огромной застекленной шоколадной фабрике в Веве. В сущности, нас разделял целый мир, а не просто один кантон. Я начинал работать в восемь тридцать утра, когда она еще спала в своей бело-розовой спальне, которая, по ее словам, напоминала свадебный торт, а когда я выходил наспех проглотить бутерброд вместо ленча, она, наверно, еще причесывалась, сидя в халате перед зеркалом. Из прибылей от своего шоколада хозяева платили мне три тысячи франков в месяц, что, вероятно, равнялось доходу доктора Фишера за полчаса: много лет назад он изобрел «Букет Зуболюба», пасту, будто бы предохраняющую от болезней, вызванных чрезмерным потреблением нашего шоколада. Слово «букет» должно было означать особый набор запахов, и первая реклама зубной пасты изображала со вкусом подобранный букетик цветов. «Ваш любимый цветок?» Позднее для рекламы использовались фотографии очаровательных девушек с цветами в зубах – у каждой девушки во рту был свой цветок.

Но я ненавидел доктора Фишера не из-за его богатства. Я ненавидел его за высокомерие, за презрение, которое он питал ко всему на свете, за жестокость. Он не любил никого, даже дочь. Он не потрудился помешать нашему браку, хотя презирал меня не меньше и не больше, чем своих так называемых друзей, которые готовы были бежать к нему по первому зову. Анна-Луиза называла их по-английски «жабами» – этот язык она знала далеко не в совершенстве. Она, конечно, подразумевала «жадюг», но я вскоре перенял кличку, которую она им дала. В числе жаб были пьяница киноактер Ричард Дин, командир дивизии – очень высокое звание в швейцарской армии, которая дает чин генерала только в военное время, – по фамилии Крюгер, юрист-международник Кипс, консультант по налоговым вопросам мсье Бельмон и американка с подсиненными волосами миссис Монтгомери. Генерал, как кое-кто из них называл Крюгера, числился в отставке; миссис Монтгомери удачно овдовела, и все они поселились в окрестностях Женевы по одной и той же причине: чтобы не платить налогов в собственных странах и чтобы воспользоваться выгодными налоговыми условиями в кантоне. Доктор Фишер и Дивизионный были единственными швейцарцами в этой компании, когда я с ней познакомился, и Фишер был куда богаче всех остальных. Он правил ими, как хозяин управляет ослом: с кнутом в одной руке и морковкой в другой. Все они были вполне состоятельными людьми, но как их манили морковки! Только из-за них они мирились с

гнусными ужинами доктора Фишера, где гостей сперва унижали (представляю себе, как он вначале спрашивал: «Неужели у вас нет чувства юмора?»), а затем одаривали. В конце концов они научились смеяться еще раньше, чем над ними сыграют шутку. Они считали себя избранниками: ведь в Женеве и ее окрестностях было немало людей, которые завидовали их дружбе с великим доктором Фишером. (Я и по сей день не знаю, доктором каких наук он был. Может быть, это звание придумали из лести, так же как командира дивизии величали «генералом».)

Как случилось, что я полюбил дочь Фишера? Объяснять тут нечего. Она была молода и красива, отзывчива и умна, я и сейчас не могу вспоминать о ней без слез; но какая тайна скрывалась за ее привязанностью ко мне? Когда мы встретились, она была больше чем на тридцать лет меня моложе, и, конечно, во мне не было ничего, что могло бы привлечь девушку ее возраста. В молодости я потерял левую руку, будучи пожарным во время бомбежки Лондона – в ту декабрьскую ночь 1940 года, когда запылал район Сити, – а маленькой пенсии, назначенной мне после войны, едва-едва хватило на то, чтобы я мог поселиться в Швейцарии, где зарабатывал себе на жизнь благодаря знанию языков, которое получил заботами родителей. Мой отец был мелким чиновником на дипломатической службе, поэтому в детстве я жил во Франции, в Турции и Парагвае и выучил языки этих стран. По удивительному совпадению и отец и мать погибли в ту самую ночь, когда я потерял руку; они были погребены под развалинами дома в западной части Кенсингтона, а моя рука осталась где-то на Лиденхолл-стрит возле Английского банка.

Как и все дипломаты, мой отец закончил свои дни дворянином, сэром Фредериком Джонсом – это имя, облагороженное титулом, никто в Англии не находил ни смешным, ни странным, но, как я обнаружил, просто мистер А.Джонс выглядел в глазах доктора Фишера потешно. К моему несчастью, отец, будучи дипломатом, увлекался историей англосаксов и – разумеется, с согласия матери – дал мне имя одного из своих любимых героев, Альфреда (вероятно, мама дрогнула перед именем Элфрид). По непонятной причине имя Альфред стало каким-то плебейским в представлении нашего среднего класса; теперь его дают только детям рабочих и в просторечии заменяют уменьшительным – Альф. Быть может, поэтому доктор Фишер, изобретатель «Букета Зуболюб», звал меня исключительно Джонсом, даже после того, как я женился на его дочери.

Но Анна-Луиза – что могло привлечь ее в человеке за пятьдесят? Быть может, она искала более чуткого отца, чем доктор Фишер, точно так же как я подсознательно был занят поисками дочери, а не жены. Моя первая жена умерла при родах двадцать лет назад, унеся с собой ребенка, который, по словам врачей, был бы девочкой. Я был влюблен в жену, но тогда я еще не дорос до тех лет, когда любишь по-настоящему, а может быть, просто время не настало. Думаю, что никогда не перестаешь любить, но перестать быть влюбленным так же легко, как охладеть к писателю, которым увлекался в детстве. Память о жене поблекла довольно быстро, и отнюдь не постоянство мешало мне жениться вновь: найти женщину, которая меня полюбила бы, несмотря на пластмассовое подобие руки и убогий заработок, было почти чудом, и я не мог надеяться, что такое чудо повторится. Когда потребность в женщине становилась настоящей, я всегда мог купить себе физическую близость – даже в Швейцарии, после того как стал получать жалованье на шоколадной фабрике вдобавок к своей пенсии и тому немногому, что я унаследовал от родителей (это были действительно гроши, но поскольку сбережения были вложены в военный заем, они по крайней мере не облагались английскими налогами).

Впервые мы встретились с Анной-Луизой в кафе за бутербродами. Я в полдень заказал свой обычный ленч, а она зашла перекусить, собираясь затем проведать в Веве старушку, нянчившую ее в детстве. Пока мне не подали еды, я встал и вышел в уборную, положив на стул газету, чтобы сохранить за собой место, а Анна-Луиза, не заметив ее, села за тот же столик. Когда я вернулся, она, как видно, заметила, что у меня нет руки – хотя я ношу на протезе перчатку, – и, вероятно, поэтому не пересела, извинившись. (Я уже писал, какой она

была доброй. В ней не было ничего от отца. Жаль, что я не знал ее матери.)

Наши бутерброды были поданы одновременно: ее – с ветчиной и мой – с сыром; она попросила кофе, а я пиво, и официантка, которая решила, что мы пришли вместе, заказы перепутала... И вот неожиданно мы вдруг почувствовали себя как два друга, встретившиеся после долгой разлуки. У нее были волосы цвета красного дерева, блестящие точно от лака, длинные волосы, которые она зачесывала наверх и закалывала раковиной с продетой в нее палочкой – кажется, эту прическу называют китайской; вежливо с ней здороваясь, я уже представлял себе, как выдерну эту палочку, раковина упадет на пол и волосы – на спину. Она была так не похожа на швейцарских девушек, которых я постоянно встречал на улице, – хорошеньких, свежих, кровь с молоком, с глазами, пустыми от полнейшего отсутствия жизненного опыта. У нее-то хватало опыта, раз она жила вместе с доктором Фишером после смерти матери.

Еще не успев доесть бутерброды мы познакомились, и, когда она произнесла фамилию «Фишер», я невольно воскликнул:

– Но ведь не \_тот же\_ Фишер!

– Не знаю, кто это

тот Фишер.

– Доктор Фишер со зваными ужинами, – ответил я.

Она кивнула, и я увидел, что ее огорчил.

– Я на них не бываю, – сказала она, и я поспешил успокоить ее, что слухи всегда все преувеличивают.

– Нет, – возразила она, – эти ужины просто отвратительны.

Может быть, желая переменить тему, она прямо заговорила о моей пластмассовой руке, на которую я всегда натягиваю перчатку, чтобы скрыть увечье. Большинство людей делают вид, будто его не замечают, хотя, когда им кажется, что мое внимание чем-то отвлечено, они украдкой поглядывают на протез. Я рассказал Анне-Луизе о той ночи, когда бомбили лондонский Сити, о том, как пламя пожаров озаряло небо до самого Вест-Энда и в час ночи можно было читать. Моя пожарная часть находилась возле Тоттнем-корт-роуд, и нас вызвали на подмогу лишь рано утром.

– Прошло больше тридцати лет, – заметил я, – а кажется, что это было совсем недавно.

– Как раз в тот год отец женился. Мама вспоминала, какой пир он закатил после венчания. Ну да, – добавила она, – «Букет Зуболюба» уже принес ему тогда состояние, а мы были нейтральной страной, и богачи, в общем, не знали карточек. Думаю, с того пира и пошли его ужины. Все женщины получили французские духи, а мужчины – золотые палочки для размешивания коктейлей; в те дни ему еще нравилось видеть за своим столом женщин. Пировали до пяти часов утра. Мне бы такая брачная ночь не понравилась.

– Бомбардировщики убралась в пять тридцать, – сказал я. – Тогда я уже был в больнице, но, лежа на койке, услышал сигнал отбоя воздушной тревоги.

Мы оба заказали еще по бутерброду, и она не разрешила мне заплатить за нее.

– В другой раз, – сказала она, и эти слова прозвучали как обещание, что мы встретимся хотя бы еще раз.

Ночь бомбежки и завтрак с бутербродами – вот самые сокровенные и самые яркие мои воспоминания, более яркие даже, чем память о дне, когда умерла Анна-Луиза.

Мы доели бутерброды, и я долго смотрел ей вслед, прежде чем отправиться в свою контору к пяти письмам на испанском и трем на турецком языках, которые лежали у меня на столе и касались нового сорта молочного шоколада с привкусом виски. Без сомнения, «Букет Зуболюба».

2

Так оно все и началось для нас, но понадобился месяц мимолетных встреч в Веве и походов на классические фильмы в маленький кинотеатр Лозанны на полпути между нашими домами, прежде чем я понял, что мы полюбили друг друга и она готова «заняться любовью» со мной – дурацкая фраза: ведь давным-давно мы занимались любовью там, за бутербродами с ветчиной и сыром. В сущности, мы были вполне старомодной парой, и я без особой надежды сделал ей предложение в первый же вечер – это было в воскресенье, когда мы лежали в постели, которую в то утро я не потрудился заправить, так как не предполагал, что она согласится зайти ко мне после встречи в кафе, где мы с ней познакомились. Я тогда выразился так:

– Как я хотел бы, чтобы мы могли пожениться.

– А почему бы нет? – спросила она, лежа на спине и глядя в потолок, а раковина, которую швейцарцы называют просто заколкой, валялась на полу, и ее волосы рассыпались по всей подушке.

– Доктор Фишер, – сказал я.

Я ненавидел его даже до того, как с ним познакомился, и мне было противно произнести «твой отец»: разве она не призналась мне, что слухи о его ужинах соответствовали действительности?

– А нам незачем его спрашивать, – сказала она. – К тому же, по-моему, ему это будет безразлично.

– Я говорил тебе, сколько зарабатываю. По швейцарским условиям это немного на двоих.

– Обойдемся. Немножко мне завещала мама.

– И к тому же мой возраст. Я бы мог быть тебе отцом, – добавил я, думая, что как раз им и стал – заместителем отца, которого она не любит, и что своим успехом я обязан доктору Фишеру. – Я бы мог быть даже твоим дедом, если бы женился пораньше.

Она сказала:

– Ну и что? Ты мой любовник и мой отец, мой ребенок и моя мать, ты вся моя семья, единственная семья, которая мне нужна. – И она прижалась своим ртом к моему, чтобы я не мог возразить, придавила меня к постели, и так мы поженились, на радость или на горе, без разрешения доктора Фишера, а если на то пошло, и без благословения священника.

Брак такого рода не имел законной силы, а значит, невозможен был и развод. Мы обвенчались друг с другом бесповоротно и навсегда.

Она вернулась в белый дворец в классическом стиле на берегу озера, уложила чемодан (удивительно, как много вещей может женщина затолкать в один чемодан) и ушла, не сказав никому ни слова. Лишь когда мы купили платяной шкаф и кое-какую кухонную утварь (у меня не было даже сковородки), а также более удобный матрац и прошло три дня, я сказал:

– Он, наверное, удивляется, куда ты исчезла. – Я сказал «он», а не «твой отец».

Она делала прическу в китайском стиле, которая мне так нравилась.

– Он, может, ничего и не заметил, – бросила она.

– Разве вы обедаете не вместе?

– Его часто не бывает дома.

– Пожалуй, мне надо пойти увидеться с ним.

– Зачем?

– А если он станет искать тебя через полицию?

– Они не будут слишком усердствовать, – возразила она. – Я уже взрослая. Мы не совершили никакого преступления.

Но я не был уверен, что его не совершил – конечно, не юридически, но в глазах отца: однорукий инвалид, которому за пятьдесят и который целыми днями строчит письма о шоколаде, склонил к сожительству девушку, которой нет и двадцати одного года.

– Если ты в самом деле хочешь пойти, – сказала она, – ступай. Но будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен.

– Он так опасен?

– Это дьявол во плоти, – сказала она.

3

Я отпросился на день с работы и поехал на машине к озеру, но чуть не повернул обратно, когда увидел размеры парка, серебристые березы, плакучие ивы и огромный зеленый каскад лужайки перед колоннадой портика. Сонная борзая разлеглась, как геральдическая эмблема. Я почувствовал, что мне полагалось бы зайти с черного хода.

Когда я позвонил, дверь отворил человек в белой куртке.

– Можно видеть доктора Фишера? – спросил я.

– Ваша фамилия? – грубо осведомился он. Я сразу понял, что это англичанин.

– Мистер Джонс.

Он провел меня наверх по нескольким ступенькам то ли в коридор, то ли в прихожую – там стояли два дивана, несколько кресел и висела большая люстра. Один из диванов занимала пожилая дама в голубом платье, с голубыми волосами и множеством золотых колец. Человек в белой куртке исчез.

Мы с ней взглянули друг на друга, потом я осмотрел комнату и подумал об источнике всего этого богатства – о «Букете Зуболюбя». Прихожая могла быть приемной очень дорогого зубного врача, а мы оба, сидевшие здесь, – пациентами. Немного погодя дама произнесла по-английски с легким американским акцентом:

– Он такой занятой человек, правда? Ему приходится заставлять дожидаться даже друзей. Я – миссис Монтгомери.

– Моя фамилия Джонс.

– Кажется, я не встречала вас на его приемах.

– Нет.

– Конечно, иногда приходится пропускать их и мне. Не всегда же тут бываешь. Верно? Не всегда.

Вероятно, не всегда.

– Вы, конечно, знаете Ричарда Дина?

– Я с ним не знаком. Но читал о нем в газетах.

Она захихикала.

– А вы злой, сразу видно. А генерала Крюгера вы знаете?

– Нет.

– Но вы должны знать мистера Кипса? – спросила она даже с оттенком тревоги и недоверия.

– О нем я слышал. Кажется, он консультант по налогам?

– Нет, нет. Это мосье Бельмон. Как странно, что вы не знаете мистера Кипса.

Я понял, что от меня ждут какого-то объяснения, и сказал:

– Я друг его дочери.

– Но мистер Кипс не женат.

– Я говорю о дочери доктора Фишера.

– А! – сказала она. – Никогда ее не видела. Она держится особняком. На вечерах у доктора Фишера не бывает. А жаль. Нам всем хотелось поближе с ней познакомиться.

Человек в белой куртке вернулся и произнес тоном, который показался мне довольно наглым:

– Мадам, доктор Фишер немного температурит и сожалеет, что не может вас принять.

– Спросите у него, не нужно ли ему чего-нибудь, я сейчас же схожу и достану. Хорошего винограда?

– У доктора Фишера есть хороший виноград.

– Я это сказала к примеру. Спросите, не могу ли я чем-нибудь ему помочь, все равно чем.

Раздался звонок у входной двери, и слуга, не удостоив даму ответом, пошел открывать. Он

снова поднялся по ступенькам в переднюю в сопровождении тощего старика в темном костюме, который шел, согнувшись чуть ли не вдвое. Голова у него была вытянута вперед, и мне показалось, что она очень напоминает семерку. Согнутую левую руку он прижимал к бедру, чем еще больше напоминал эту цифру.

– Он простудился, – сказала миссис Монтомгери, – и не может нас принять.

– Мистеру Кипсу назначен прием, – отозвался слуга и, больше не обращая на нее внимания, повел старика вверх по мраморной лестнице.

Я крикнул ему вдогонку:

– Передайте доктору Фишеру, что у меня к нему поручение от его дочери!

– Температурит! – воскликнула миссис Монтомгери. – Вот уж не верьте. Они пошли вовсе не в спальню. Они пошли в кабинет. Но вы, конечно, знаете расположение комнат.

– Я здесь впервые.

– Ах так. Теперь понятно – вы не из наших.

– Я живу с его дочерью.

– В самом деле? – сказала она. – Как интересно и как откровенно. Я слышала, она – хорошенькая девушка. Но я никогда ее не видела. Я ведь уже говорила, что она не любит общества. – Миссис Монтомгери подняла руку, чтобы поправить прическу, звякнув золотым браслетом. – Знаете, на мне лежит большая ответственность. Когда доктор Фишер устраивает приемы, приходится быть за хозяйку. Я единственная женщина, которую он теперь приглашает. Это, конечно, большая честь, но в то же время... Генерал Крюгер обычно выбирает вино... Когда бывает вино, – загадочно добавила она. – Генерал большой знаток вин.

– Разве там, на ужинах, вино подают не всегда? – спросил я.

Она молча на меня посмотрела, словно я задал дерзкий вопрос. Потом немного смягчилась.

– У доктора Фишера, – сказала она, – замечательное чувство юмора. Как странно, что он ни разу не пригласил вас на один из своих ужинов, но, может быть, при таких обстоятельствах это было бы не совсем удобно. У нас очень тесная компания, – добавила она. – Мы все хорошо друг друга знаем и все так любим, просто обожаем доктора Фишера. Но вы, конечно, знакомы хотя бы с мсье Бельмоном – мсье Анри Бельмоном? Он может решить любую налоговую проблему.

– У меня нет налоговых проблем, – признался я.

Сидя на другом диване под большой хрустальной люстрой, я понял, что сказал что-то не совсем приличное. Миссис Монтомгери, явно шокированная моим признанием, отвела глаза.

Несмотря на скромный титул моего отца, обеспечивший ему на время местечко в справочнике «Кто есть кто», я почувствовал себя в обществе миссис Монтомгери парией, а тут еще, к моему вящему стыду, слуга, сбегая с лестницы и не удостоивая меня даже взглядом, объявил:

– Доктор Фишер примет мистера Джонса в четверг, в пять часов, – и удалился в потайные просторы большого дома, который – странно подумать – был еще недавно обиталищем Анны-Луизы.

– Что ж, мистер Джонс, – ведь вас так зовут? Приятно было познакомиться. Я немножко задержусь: хочу узнать у мистера Кипса, как здоровье нашего друга. Мы обязаны заботиться об этом милейшем человеке.

Лишь позднее я сообразил, что встретил первых двух жаб.

4

– Перестань, – советовала мне Анна-Луиза. – Ничем ты ему не обязан. Ты ведь не из этих жаб. Он отлично знает, где я теперь нахожусь.

– Он знает, что ты находишься у какого-то Джонса – вот и все.

– Если захочет, он легко может выяснить твоё имя, профессию, место работы и все подробности. Ты же постоянно проживающий здесь иностранец. Ему надо только справиться.

– Это сведения секретные.

– Не думай, что для моего отца существуют какие-либо секреты. Наверно, и в полиции у него есть своя жаба.

– По-твоему, он вроде нашего господина бога – да исполнится воля его на земле, как и на небесах.

– Вроде этого.

– Ты разжигашь мое любопытство.

– Ладно, встречайся с ним, если уж тебе нейдет, – бросила она. – Но будь осторожен. Пожалуйста, будь осторожен. И особенно осторожен, если он вздумает улыбаться.

– Улыбкой Зуболюба, – отшутился я.

Впрочем мы оба пользовались именно этой пастой. Ее рекомендовал мой зубной врач. Может быть, он тоже был жабой.

– Никогда не упоминай при нем «Букет Зуболюба», – сказала она. – Он не любит, чтобы ему тыкали в нос, как он скотил свое состояние.

– Разве он сам этой пастой не пользуется?

– Нет. Он пользуется штукой, которая называется водяной зубочисткой. Вообще не упоминай при нем о зубах, не то он подумает, что ты над ним потешаешься. Он издевается над другими, но над ним не издевается никто. У него на это монополия.

В четверг, в четыре часа, когда я отпросился с работы, я не испытывал той храбрости, которую внушало мне присутствие Анны-Луизы. Я просто был человеком по имени Альфред Джонс, пятидесяти лет с хвостиком, работающим в шоколадной фирме за три тысячи франков в месяц. Я оставил свой «фиат» и поехал в Женеву поездом, а от вокзала пошел к стоянке такси. Поблизости от нее находилось заведение, которое швейцарцы зовут Английской пивной и которое, как и следовало ожидать, окрестили «Уинстон Черчилль», снабдив невразумительной вывеской, деревянными панелями, окнами с цветными стеклами (почему-то в белых и алых розах Йорка и Ланкастера) и английским баром с фаянсовыми



пивными кружками, пожалуй единственными здесь подлинными вещами – ведь нельзя же считать ими резные деревянные скамьи, фальшивые бочки вместо столов и прессованный белый хлеб. Рад заметить, что питейное заведение открывалось не в обычное для англичан время, и я решил немножко подбодриться, прежде чем взять такси.

Поскольку пиво из бочки стоило почти так же дорого, как виски, я заказал виски. Мне хотелось поболтать, чтобы как-то отвлечься, и я встал у бара, пытаюсь втянуть в беседу хозяина.

– Много английских клиентов? – осведомился я.

– Нет, – ответил он.

– Почему? Казалось бы.

– У них нет денег.

Он был швейцарцем и человеком не очень общительным.

Он был французским швейцарцем и человеком более общительным, чем бармен.

Я выпил еще одно виски и вышел. Таксиста я спросил:

– Вы знаете дом доктора Фишера в Версуа?

– Хотите повидать доктора? – спросил он.

– Да.

– Будьте осторожны.

– Почему? Разве он такой страшный?

– Un peu farfelu [с маленькими странностями (фр.)], – сказал он.

– В каком смысле?

– А вы не слышали о его приемах?

– Да, ходят всякие слухи. Никто никогда не рассказывал мне подробностей.

– Ну да, все они поклялись молчать.

– Кто?

– Люди, которых он приглашает.

– Тогда откуда же знают о его приемах?

– Никто ничего не знает, – сказал он.

Все тот же наглый слуга открыл мне дверь.

– Вам назначено? – спросил он.

– Да.

– Фамилия?

– Джонс.

– Не знаю, сможет ли он вас принять.

– Я же сказал, я договорился о своем визите.

– Подумаешь, договорился, – произнес он пренебрежительно. – Вы все заявляете, что договорились.

– Ступайте и доложите, что я пришел.

Он скорчил гримасу и удалился, оставив меня на этот раз на пороге. Его не было довольно долго, и я чуть было не ушел. Я заподозрил, что он Медлит нарочно. Наконец он вернулся и объявил:

– Он вас примет. – И повел меня через прихожую вверх по мраморной лестнице.

Там висела картина: женщина в развевающихся одеждах очень нежно держала в руках череп; я не знаток, но картина выглядела как подлинник семнадцатого века, а не копия.

– Мистер Джонс, – доложил слуга.

Напротив меня за столом сидел доктор Фишер, и я удивился, увидев человека, похожего на всех прочих людей (а ведь я выслушал столько намеков и предостережений), человека примерно моего возраста, с рыжими усами и волосами, начинавшими терять свой огненный блеск, – усы он, возможно, подкрашивал. Под глазами у него висели мешки, а веки были очень тяжелые. Он выглядел так, будто по ночам его мучит бессонница. Сидел он за большим столом в единственном здесь удобном кресле.

– Садитесь, Джонс, – сказал он, не поднимаясь и не протягивая руки.

Это больше походило на приказ, чем на приглашение, но не звучало неприязненно: я мог быть одним из его служащих, привыкшим стоять перед ним навтыяжку, которому он оказывал маленький знак расположения. Я пододвинул стул, и наступила тишина. Наконец он произнес:

– Вы хотели поговорить со мной?

– Я-то думал, что это вы, наверно, хотите поговорить со мной.

– С чего бы это? – спросил он с легкой улыбкой, и я вспомнил предостережение Анны-Луизы.

– Я даже не знал о вашем существовании, пока вы тут не появились на днях. Между прочим, что скрывается под этой перчаткой? Какое-нибудь увечье?

– Я потерял руку.

– Надеюсь, вы явились сюда не для того, чтобы советоваться со мной на этот счет. Я другого рода доктор.

– Я живу с вашей дочерью. Мы собираемся пожениться.

– Это всегда нелегкое решение, – сказал он, – но вам лучше его обсудить между собой. Меня оно не касается. А ваше увечье – наследственное? Наверно, вы обговорили этот важный вопрос?

– Я потерял руку во время лондонской бомбежки, – сказал я и неуверенно добавил: – Мы полагали, что вам нужно это сообщить.

– Ваша рука меня, в сущности, не касается.

– Я имел в виду наш брак.

– Ну, эту новость, по-моему, проще было сообщить в письменном виде. Вас бы это избавило от поездки в Женеву.

В его устах Женева казалась другим миром, таким же далеким от нашего дома в Веве, как Москва.

– Вас, кажется, не слишком беспокоит судьба вашей дочери.

– Вы, наверно, знаете ее лучше меня, Джонс, если узнали так хорошо, что решили на ней жениться и, значит, освободили меня от всякой ответственности за нее, какая у меня когда-то, вероятно, была.

– Вы не хотели бы узнать наш адрес?

– Я полагаю, что она живет у вас?

– Да.

– Должно быть, вы значитесь в телефонном справочнике?

– Да. В Веве.

– Тогда вам нет надобности записывать адрес. – Он снова наградил меня одной из своих опасных улыбочек. – Что ж, Джонс, с вашей стороны было любезно зайти ко мне, хотя в этом и не было необходимости. – Он явно меня выпроваживал.

– Прощайте, доктор Фишер, – произнес я.

Он снова заговорил, когда я уже был почти у двери:

– Джонс, вы случайно не разбираетесь в овсянке? Я имею в виду настоящую овсяную кашу. Может быть, поскольку вы уроженец Уэльса... у вас ведь валлийская фамилия...

– Овсянка – блюдо шотландское, – сказал я, – не валлийское.

– Вот оно что, значит, меня неправильно информировали. Спасибо, Джонс, кажется, это все.

Когда я пришел домой, Анна-Луиза встретила меня встревоженно.

– Как вы поладили?

– Да никак мы не поладили.

– Он тебе нахамил?

– Я бы этого не сказал... мы оба его совершенно не интересуем.

– Он улыбался?

– Да.

– Пригласил тебя на ужин?

– Нет.

– Слава богу хоть за это.

– Слава доктору Фишеру, – сказал я, – или это одно и то же?

5

Неделю или две спустя мы поженились в мэрии; свидетеля я привел из своей конторы. От доктора Фишера не было никаких вестей, хотя мы послали ему сообщение о дне нашей свадьбы. Мы были совершенно счастливы, особенно счастливы потому, что будем одни, не считая конечно, свидетеля. За полчаса до ухода в мэрию мы занимались любовью.

– Ни свадебного торта, – говорила Анна-Луиза, – ни подружек, ни священника, ни родни – вот это замечательно. И так будет торжественнее – почувствуешь себя замужем по-настоящему. А по-другому получается вроде вечеринки.

– Одной из вечеринок доктора Фишера?

– Ничуть не лучше.

В глубине комнаты в мэрии стоял человек, которого я не знал. Опасаясь появления доктора Фишера, я то и дело нервно поглядывал через плечо и увидел очень высокого тощего человека со впалыми щеками; у него подергивалось левое веко, и на секунду мне показалось, что он мне подмигивает; я подмигнул ему в ответ, но встретил отсутствующий взгляд и решил, что это один из чиновников мэрии. Перед столом для нас поставили два стула, а свидетель, некий мсье Экскофье, вертелся у нас за спиной. Анна-Луиза шепнула мне что-то, но я не разобрал.

– Что ты сказал?

– Он из этих жаб.

– Мосье Экскофье? – воскликнул я.

– Нет, нет, тот, сзади.

Началась церемония, и, пока она длилась, человек, стоявший сзади, не переставал действовать мне на нервы. Я вспомнил ту часть английской церемонии бракосочетания, когда священник спрашивает, не знает ли кто-либо причины или препятствия, которые могут помешать этим двум людям сочетаться священным браком, и если да, то пусть объявит об этом во всеуслышание, и я поневоле подумал, не подослана ли доктором Фишером какая-нибудь жаба именно для такой цели. Однако вопрос не был задан, ничего не случилось, все сошло гладко, и мэр – я полагаю, что это был мэр, – пожал нам руки, пожелал счастья и быстро исчез за дверью позади стола.

– Теперь надо выпить, – сказал я мсье Экскофье; это было самое меньшее, что мы могли предложить в благодарность за его немые услуги, – бутылочку шампанского в «Трех коронах».

Но тощий человек по-прежнему не двигался с места, подмигивая нам из глубины комнаты.

– Нет ли здесь другого выхода? – спросил я у письмоводителя – если это был письмоводитель – и указал на дверь позади стола. Нет, ответил он, нет: пройти туда совершенно невозможно, тот выход не для посторонних, поэтому нам не оставалось ничего другого, как встретиться лицом к лицу с жабой. У самой двери незнакомец меня остановил:

– Мсье Джонс, меня зовут мсье Бельмон. Я должен вам кое-что передать от доктора Фишера.  
– Он протянул мне конверт.

– Не бери! – сказала Анна-Луиза.

По своей наивности мы оба решили, что это, возможно, повестка в суд.

– Мадам Джонс, он посылает вам свои наилучшие пожелания.

– Вы ведь консультант по налогам? – сказала она. – Во сколько обойдутся нам его лучшие пожелания? Должна я поставить в известность fisc? [здесь: налоговое управление (фр.)]

Я вскрыл конверт. Внутри была только карточка, отпечатанная в типографии: «Доктор Фишер просит... (от руки было написано „Джонса“ даже без добавления „мистера“) оказать ему честь своим присутствием на встрече друзей и неофициальном ужине... (было вписано „10 ноября“) в 8:30 вечера. Просьба подтвердить согласие».

– Это приглашение? – спросила Анна-Луиза.

– Да.

– Не ходи ни за что.

– Он будет очень огорчен, – сказал мсье Бельмон. – Он так надеется, что мсье Джонс придет и присоединится к нашему обществу. Будут мадам Монтгомери, и, конечно, мсье Кипс, и надеемся, что и Дивизионный...

– Сборище всех жаб, – заметила Анна-Луиза.

– Жаб? Жаб? Такого слова не знаю. Прошу вас, он очень хочет представить вашего мужа всем своим друзьям.

– Но, судя по карточке, моя жена не приглашена.

– Никто из наших жен не приглашен. Без дам. На наших маленьких собраниях это стало правилом. Не знаю почему. Когда-то, правда, бывало... Но теперь мадам Монтгомери – единственное исключение. Можно сказать, что она представляет собой весь женский пол. – Он добавил не слишком уместное жаргонное выражение: – Она своя в доску.

– Я пошлю ответ сегодня же вечером, – сказал я.

– Уверяю вас, если вы не придете, вы много потеряете. Ужины доктора Фишера всегда так интересны. У него большое чувство юмора, и он такой щедрый. Нам бывает очень весело.

Мы выпили бутылочку шампанского с мсье Экскофье в «Трех коронах», а затем отправились домой. Шампанское было отличное, но день потерял свою прелесть. Доктор Фишер посеял между нами разлад: я стал доказывать, что, в конце концов, в сущности, ничего против него не имею. Он ведь мог воспротивиться нашему браку или по крайней мере выразить свое неодобрение. Приглашая меня на один из своих ужинов, он в известном смысле сделал мне свадебный подарок, и было бы крайне невежливо отклонить это приглашение.

– Он хочет, чтобы ты стал одной из жаб.

– Но я ничего не имею против жаб. Они действительно такие ужасные, как ты говоришь? Я видел троих из них. Правда, миссис Монтгомери мне не очень понравилась.

– Неверно, они не всегда были жабами. Он их развратил.

- Развратить можно только того, кто имеет склонность к разврату.
- Откуда ты знаешь, что у тебя ее нет?
- Я этого не знаю. Может быть, полезно было бы это выяснить.
- И ты позволишь ему подняться с тобой на высокую гору и показать тебе все царства мира?
- Я не Христос, а он не дьявол, и, по-моему, мы договорились, что он господь бог, хотя в глазах обреченных на проклятие господь бог, наверно, очень напоминает дьявола.
- Ладно, – сказала она, – ступай и убирайся к черту!

Ссора была похожа на тлеющий лесной пожар: иногда он как бы угасал, но потом искры зажигали обугленную щепку, и на мгновение снова вспыхивал огонь. Спор окончился, когда она плача уткнулась в подушку, и я сдался.

– Ты права, – сказал я, – я ничем ему не обязан. Это просто кусок картона. Я не пойду. Обещаю, что не пойду.

– Нет, – возразила она, – ты прав. Я не права. Я знаю, что ты не жаба, но ты так и не будешь этого знать, если не пойдешь на его проклятый ужин. Иди, пожалуйста, обещаю, что больше не буду сердиться. Я хочу, чтобы ты пошел. – И добавила: – В конце концов, он мой отец. Может, он не такой уж и плохой. Может, он тебя пощадит. Он не щадил моей матери.

Спор нас измучил. Она сразу же уснула в моих объятиях, вскоре заснул и я.

Наутро я послал официальный ответ на приглашение:

«М-р А.Джонс с удовольствием принимает любезное приглашение д-ра Фишера...» А про себя поневоле подумал: сколько волнений из-за пустяков; но я ошибался, глубоко ошибался.

6

Ссора не возобновлялась. Это было одно из величайших достоинств Анны-Луизы: она никогда не возвращалась к ссорам или к принятым решениям. Когда она надумала выйти за меня замуж, я знал, что она решила это на всю жизнь. Она больше ни разу не упоминала о приглашении на ужин, и следующие десять дней были одними из самых счастливых в моей жизни. Для меня было удивительной переменой приходиться вечером из конторы домой, где не было одиночества, где звучал голос, который я любил.

Только раз это счастье слегка омрачилось, когда мне пришлось отправиться в Женеву для деловой встречи с одним важным испанским кондитером из Мадрида. Он угостил меня отличным обедом в ресторане «Бориваж», но я не мог насладиться едой потому, что он говорил только о шоколаде, начиная с аперитива – помню, он выбрал коктейль «Александр», посыпанный шоколадными крошками. Казалось бы, шоколадная тема довольно ограничена, но нет, не для важного кондитера с передовыми идеями. Он закончил обед шоколадным муссом, который подверг строгой критике за то, что в нем не было апельсиновой цедры. Вставая из-за стола, я чувствовал легкое недомогание в области печени, будто перепробовал все сорта шоколада, когда-либо выпущенные моей фирмой.

Был облачный, сырой, осенний день, и, направляясь туда, где стояла моя машина, я старался отвлечься от сырости воздуха, от сырости озера, от навязчивого привкуса

шоколада, как вдруг услышал женский голос:

– Да это же мистер Смит! Вы-то как раз мне и нужны.

Я обернулся и увидел миссис Монтгомери на пороге магазина, где торговали предметами роскоши.

– Джонс, – автоматически поправил я.

– Простите! Ах, у меня ужасная память. Сама не знаю, почему я решила, что вы мистер Смит. Но это все равно, потому что сейчас мне нужен мужчина. Просто мужчина. И все.

– Это брачное предложение? – спросил я, но она не поняла шутки.

– Я хочу, чтобы вы зашли сюда со мной и показали четыре вещицы, которые вам бы хотелось иметь, если вы были бы достаточно расточительны и решили их купить.

Она потащила меня за руку в магазин, и один вид всех этих предметов роскоши вызвал у меня тошноту, как шоколад за обедом; казалось, все здесь было из золота или платины, хотя для покупателей победнее имелись вещи из серебра и свиной кожи. Я вспомнил о слухах, которые доходили до меня о приемах доктора Фишера, и понял, что знаю, за чем охотится миссис Монтгомери. Она выбрала красный сафьяновый футляр с золотым ножичком для обрезания сигар.

– Вы хотели бы иметь вот это? – спросила она.

«Это» стоило бы мне примерно месячного жалованья.

– Я не курю сигар, – сказал я. И добавил: – Этого не берите. Разве он не дарил их на своем свадебном обеде? Вряд ли доктор Фишер любит повторяться.

– Вы уверены?

– Нет. Впрочем, кажется, тогда были палочки для размешивания коктейлей.

– Так вы не уверены? – спросила она разочарованным тоном и отложила ножичек для обрезания сигар. – Вы не представляете себе, как трудно найти то, что понравится всем – особенно мужчинам.

– Почему бы не раздавать вместо этого чеки? – спросил я.

– Нельзя дарить людям чеки. Это оскорбительно.

– Может, никто из вас и не обидится, если чеки будут на достаточно крупную сумму.

Я заметил, что она взвешивает мои слова, а позднее у меня появилось основание полагать, что она передала мое замечание доктору Фишеру. Она сказала:

– Не годится. Никак не годится. Подумайте только: дать чек генералу – это будет выглядеть как взятка.

– Генералы брали взятки и раньше. К тому же, если он швейцарец, он не может быть генералом. Вероятно, он просто командир дивизии.

– Ну а как можно дать чек мистеру Кипсу! Это же просто немыслимо. Не проговоритесь, что я вам сказала, но мистеру Кипсу фактически принадлежит этот магазин. – Она погрузилась в размышления. – Как насчет электронных золотых часов или, еще лучше, платиновых? Но, может быть, у них они уже есть...

– Новые они всегда сумеют вернуть в магазин.

– Уверена, что никому из них и в голову не придет продавать подарок. Тем более подарок доктора Фишера.

Теперь секрет был выдан, моя догадка подтвердилась. Я увидел, как она запнулась, словно попыталась проглотить сказанное.

Я взял рамку для фотографии из свиной кожи. Словно здешние покупатели были недостаточно сообразительны и не понимали, для чего употребляют такие рамки, администрация вставила туда фотографию кинозвезды Ричарда Дина. Даже я читал газеты и мог узнать это подержанно-молодое лицо и пьяную улыбку.

– Как насчет рамки? – спросил я.

– Ну, вы невозможный человек, – простила миссис Монтгомери, но все равно, как потом выяснилось, она передала и это мое издевательское предложение доктору Фишеру.

Кажется, она обрадовалась моему уходу. Я ей ничем не помог.

7

– Ты ненавидишь отца? – спросил я Анну-Луизу, пересказав ей события дня, начиная от обеда с испанским кондитером.

– Я его не люблю. – И добавила: – Да, кажется, я его ненавижу.

– Почему?

– Он отравил жизнь матери.

– Как?

– Все дело в его гордыне. В его дьявольской гордыне.

Она рассказала мне, как ее мать любила музыку, которую отец ненавидел – вот тут, без сомнения, была настоящая ненависть. Почему – она не знала, но музыка словно дразнила его тем, что была ему недоступна, разоблачала его тупость. Тупость? Человек, который изобрел «Букет Зуболюба» и сколотил многомиллионное состояние, – тупица? Так или иначе, мать начала убегать в одиночестве на концерты и на одном из них встретила человека, который разделял ее любовь к музыке. Они даже стали вместе покупать пластинки и слушать их тайком у него дома. И когда доктор Фишер разглагольствовал, что струнные концерты – это кошачье мяуканье, она больше не пыталась с ним спорить: ей достаточно было пройти по улице к мясной лавке, сказать два слова в переговорное устройство, подняться на лифте на третий этаж, чтобы целый час с наслаждением слушать Хейфеца. Физической близости между ними не было – Анна-Луиза твердо это знала, супружеская верность не страдала. Физическая близость была с доктором Фишером, и матери она никогда не доставляла радости: это были муки деторождения и огромное чувство одиночества, когда доктор Фишер сопел от удовольствия. Много лет она притворялась, будто и ей это приятно; обманывать мужа не составляло труда – ведь ему было безразлично, приятно ей или нет. Могла бы и не стараться.

Все это она рассказала дочери в приступе истерики.



Потом доктор Фишер обо всем узнал. Он стал ее допрашивать, и она сказала ему правду, а он правде не поверил, хотя, возможно, и поверил, но ему было все равно, изменяла она ему с мужчиной или с пластинкой Хейфеца, с кошачьим концертом, которого он не понимал. Она убегала от него в тот мир, куда он не мог за ней последовать. Его ревность так на нее действовала, что она поверила, будто у него на это есть основания: она почувствовала себя в чем-то виновной, хотя в чем именно – не знала. Она просила прощения, она унижалась, она рассказала ему все – даже какая пластинка Хейфеца ей больше всего нравилась, а потом ей всегда казалось, что в минуты близости он ее ненавидит. Она не могла объяснить это дочери, но я себе представлял, как это было, как он вонзался в нее, словно закалывал врага. Но один решающий удар не мог его удовлетворить. Ему нужна была смерть от тысячи ран. Он сказал, что прощает ее, и это только усугубило чувство ее вины – значит, было что прощать, – но он сказал также, что никогда не сможет забыть ее измены... какой измены? И вот он будил ее по ночам, чтобы закалывать снова и снова. Она узнала, что он выведал фамилию ее друга, этого безобидного маленького любителя музыки, пошел к его хозяину и дал пятьдесят тысяч франков, чтобы тот его уволил без рекомендации. «Хозяином был мистер Кипс», – рассказала она. Ее друг был просто конторщиком, отнюдь не важной персоной, мелкой сошкой, которую легко заменить другой мелкой сошкой. Его единственным достоинством была любовь к музыке, но об этом мистер Кипс ничего не знал. Доктора Фишера еще больше оскорбляло то, что этот человек так мало зарабатывал. Его бы не обидело, если бы жена изменила ему с другим миллионером, – так по крайней мере считала мать Анны-Луизы. Он безусловно презирал бы Христа за то, что тот был сыном плотника, если бы Новый завет со временем не стал приносить такую колоссальную прибыль.

– А что случилось с тем человеком?

– Мать так этого и не узнала, – сказала Анна-Луиза. – Он просто исчез. А всего через несколько лет исчезла и моя мать. Я думаю, она была как те африканки, которые могут заставить себя умереть. Она только однажды заговорила со мной о своей личной жизни – я тебе все это рассказала. Насколько запомнила.

– А ты? Как он обращался с тобой?

– Плохо он никогда со мной не обращался. Для этого я его недостаточно интересовала. Но знаешь, мне кажется, что маленький конторщик мистера Кипса действительно уколол его в самое сердце и он так и не оправился от этого укола. Может, тогда он и научился ненавидеть и презирать людей. Вот он и пригласил жаб, чтобы развлечься после смерти матери. Первой из них стал, конечно, мистер Кипс. По отношению к мистеру Кипсу у него душа была не на месте. В известном смысле отец ему себя выдал. И раз мистер Кипс все знал, отцу надо было его унижить, как он унижал мою мать. Он нанял его своим поверенным в делах, чтобы заткнуть ему рот.

– Что же он устроил мистеру Кипсу?

– Ты ведь не знаешь, как он выглядит.

– Знаю. Я видел его, когда в первый раз пытался встретиться с твоим отцом.

– Тогда ты знаешь, что он согнут почти вдвое. Что-то не в порядке с позвоночником.

– Да. Мне показалось, что он похож на семерку.

– Отец нанял известного детского писателя и очень хорошего карикатуриста, и вместе они создали книгу в картинках: «Приключения мистера Кипса в поисках доллара». Он подарил мне сигнальный экземпляр. Я тогда не знала, что существует настоящий мистер Кипс, и книга показалась мне очень смешной и очень жестокой. В книге мистер Кипс все время согнут вдвое и все время находит монеты, оброненные прохожими. Книга появилась в

рождественские дни, и отец устроил – понятно, за деньги, – чтобы она была броско выставлена в витринах всех книжных магазинов. Книгу поместили на такой высоте, чтобы сгорбленный мистер Кипс, проходя мимо, мог ее увидеть. Имя юриста – особенно юриста-международника, который занимается громкими уголовными делами, – не пользуется широкой известностью даже в родном городе, и, кажется, только хозяин одного книжного магазина возражал против этой затеи, опасаясь ответственности за диффамацию. Но отец обязался заплатить любой штраф. Наверно, большинству детей свойственна жестокость: книга имела шумный успех. Последовало много переизданий. Одна из газет даже стала печатать такие комиксы. Думаю, что отец заработал на этом немалые деньги, и это доставило ему изрядное удовольствие.

– А мистер Кипс?

– Он узнал об этом на первом из званых ужинов отца. Каждый нашел возле своего прибора маленький, но роскошный подарок – из золота или платины; каждый, кроме мистера Кипса: он получил большой бумажный пакет со специально переплетенным в красный сафьян экземпляром книги. Наверное, он пришел в бешенство, но перед другими гостями ему пришлось притвориться, будто это шутка, – ведь он ничего не мог поделать: отец платил ему огромное жалованье ни за что ни про что и он потерял бы его в случае ссоры. Кто знает? Быть может, он сам скупил все это множество экземпляров, и потому книга была распродана. Все это мне рассказал отец. Он считал эту историю очень забавной. «Но за что страдает бедный мистер Кипс?» – спросила я. Конечно, он не открыл мне настоящей причины. «Ну, со временем я посмеюсь над каждым из них», – ответил он. – «Тогда со временем ты потеряешь всех своих друзей» – сказала я. «Ошибаешься, – заявил он. – Все мои друзья богачи, а богачи жадны. У богачей нет гордости, они гордятся только своим состоянием. Церемониться надо с бедняками».

– Тогда мы с тобой в безопасности, – заметил я. – Мы не богачи.

– Да, но, может быть, для него мы недостаточно бедны.

Она обладала мудростью, и в этом я не мог с ней тягаться. Возможно, это была еще одна из причин, почему я ее любил.

8

Теперь, когда я остался один в этой квартире, я стараюсь припомнить, до чего же мы были счастливы накануне того первого ужина с жабами. Но как выразить словами счастье? Описать ощущение несчастья легко: я был несчастлив, говорим мы, потому что... Мы вспоминаем то и это, приводим всякие причины, а счастье подобно островам далеко в Тихом океане, которые, по рассказам матросов, выплывают из дымки там, где их никогда не отмечал ни один картограф. Потом остров снова исчезает на целое поколение, но ни один мореплаватель не может быть уверен, что он существовал только в воображении какого-то давно умершего моряка. Я повторяю себе снова и снова, как я был счастлив в те дни, но, когда пытаюсь мысленно найти причину этого счастья, не нахожу ничего осязаемого.

Дает ли счастье физическая близость? Конечно, нет. Это возбуждение сродни безумию, иногда – почти мука. Быть может, счастье – просто тихое дыхание рядом со мной на подушке или шорохи на кухне по вечерам, когда я возвращался с работы и читал «Журналь де Женев», сидя в нашем единственном кресле? Мы вполне могли позволить себе купить второе кресло, но на ото у нас не хватало времени, а когда мы наконец приобрели его в Веве – с машиной для мытья посуды в придачу, которая заменила грохотом мотора веселое

бренчание тарелок в руках, – остров безмерного счастья уже затерялся в тумане.

К тому времени перед нами стала маячить близкая угроза ужина у доктора Фишера, и мысли о нем обуревали нас минуты молчания. Тень, темнее ангела смерти, прошла над нашими головами. Однажды в конце такого долгого молчания я высказал свою мысль вслух:

– Кажется, все-таки напишу ему, что не смогу прийти. Я сошлюсь...

– На что?

– Скажу, что мы едем отдыхать, будто фирма отпускает меня как раз на этот день.

– В ноябре люди не берут отпуск.

– Тогда я напишу, что тебе нездоровится, и я не могу тебя оставить.

– Он знает, что у меня лошадиное здоровье.

Это в какой-то мере было правдой, но лошадь была чистокровная, а они, кажется, требуют ухода. Анна-Луиза была стройной, тоненькой. Я любил трогать ее скулы и голову. Сила ее проявлялась главным образом в тонких запястьях, которые были крепки, как манильский канат: она легко могла отвинтить крышку банки, которая мне не поддавалась.

– Лучше не пиши, – сказала она. – Ты был прав, что согласился, а я нет. Если ты сейчас откажешься, то решишь, что струсил, и никогда себе этого не простишь. В конце концов, это всего один ужин. Отец не может нам повредить. Ты не мистер Кипс, не богач, и мы от него не зависим. В другой раз ты уж не пойдешь.

– Конечно, не пойду, – заявил я и сам в это верил.

Так или иначе, день ужина быстро приближался. Море затянуло густым туманом, остров исчез из виду, и я так никогда и не узнаю его широту и долготу, чтобы нанести на карту. Настанет время, когда я стану сомневаться, действительно ли я видел его.

В ту пору лихорадочных покупок мы приобрели и кое-что еще – пару лыж. Мать научила Анну-Луизу бегать на лыжах, когда ей было четыре года, и это стало для нее так же естественно, как ходить пешком, а зимний сезон приближался. Перебираясь ко мне в Веве, она забыла лыжи дома, и ничто не могло заставить ее за ними вернуться. А потом пришлось искать и ботинки. Это был долгий день хождения по магазинам, и, кажется, мы все еще чувствовали себя счастливыми; пока мы были чем-то заняты, мы не думали о тучах. Мне нравилось, с каким знанием дела Анна-Луиза выбирала лыжи, а ноги ее никогда еще не казались мне такими красивыми, как тогда, когда она примеряла тяжелые ботинки.

Опыт мне подсказывал, что совпадения редко бывают счастливыми. Как лицемерно мы говорим: «Какое счастливое совпадение!», когда встречаем знакомого в гостинице, где нам так хотелось побыть одним! По дороге домой мы прошли мимо librairie, а я всегда заглядываю в витрину каждой книжной лавки – это почти рефлекс. В ноябре магазины уже готовились к рождеству, и здесь была витрина, заставленная детскими книгами. Я мельком взглянул и тут в самом центре увидел мистера Кипса с головой, опущенной к земле в поисках доллара.

– Смотри!

– Да, – сказала Анна-Луиза, – к рождеству всегда выпускают новое издание. Может, отец платит издателям, а может, всегда есть новые дети, которые хотят читать эти книжки.

– Мистеру Кипсу, наверно, очень хотелось бы, чтобы все на свете принимали противозачаточные пилюли.

– Я сама перестану их принимать, как только кончится лыжный сезон, – сказала Анна-Луиза. – Так что, может быть, прибавится еще один читатель «Мистера Кипса».

– Зачем откладывать?

– Я хорошая лыжница, – ответила она, – но бывают несчастные случаи. Не хочется лежать в гипсе беременной.

Дальше уже нельзя было избегать мыслей об ужине у доктора Фишера. Это «завтра» почти настало и не выходило у нас из головы. Словно акула терлась пастью о нашу маленькую лодку, из которой мы однажды видели остров. Долгие часы лежали мы в ту ночь без сна плечом к плечу, но разделенные безграничной далью нашего уныния.

– Какие мы глупые, – рассуждала Анна-Луиза, – в конце концов, что он нам может сделать? Ты же не мистер Кипс. Ну, завалит все витрины карикатурой на тебя, а нам-то что? Кто тебя узнает? И твоя фирма тебя не уволит, если он даже заплатит им пятьдесят тысяч франков. Да они за полчаса получают большую прибыль. Мы никак от него не зависим. Мы свободны, свободны. Повтори это вслух за мной. Свободны!

– Может быть, он ненавидит свободу так же, как презирает людей.

– Он никак не сможет превратить тебя в жабу.

– Тогда я хотел бы знать, зачем ему нужно, чтобы я пришел.

– Просто показать остальным, что может заставить тебя прийти. Он даже попытается оскорбить тебя в их присутствии – это на него похоже. Потерпи часок-другой, а если он пойдет слишком далеко, выплесни вино ему в лицо и уйди. Все время помни, что мы свободны. Свободны, мой дорогой. Он не может причинить вреда ни тебе, ни мне. Мы слишком маленькие люди, чтобы он мог нас обидеть. Это все равно что пытаться унижить официанта – ты только унижаешь самого себя.

– Да, знаю. Ты, конечно, права. Это действительно глупо, но все-таки мне хотелось бы понять, что у него на уме.

Наконец мы заснули. А следующий день приближался к вечеру медленно, как калека, как мистер Кипс. Тайна, которая окутывала ужины доктора Фишера, и поток самых невероятных слухов придавали им какой-то зловещий характер, но постоянное присутствие все одной и той же компании жаб означало, что там можно найти и удовольствие. Почему мистер Кипс не перестает принимать в них участие после того, как его так оскорбили? Допустим, это можно объяснить нежеланием потерять жалованье, но вот Дивизионный – уж он-то, во всяком случае, не должен бы мириться с чем-то позорным? Не так-то легко получить звание командира дивизии в нейтральной Швейцарии, так что Дивизионный, Дивизионный в отставке, пользуется престижем редкой и оберегаемой птицы.

Помню каждую подробность того неприятного дня. За завтраком подгорели тосты – это была моя вина; я пришел в контору с пятиминутным опозданием; мне передали для перевода два письма на португальском языке – португальского я не знаю; мне пришлось работать в обеденный перерыв по милости испанского кондитера, который, окрыленный нашим совместным обедом, прислал свои предложения на двадцати страницах и желал получить ответ до своего возвращения в Мадрид (в числе прочего он добивался изменения одного из сортов нашего шоколада применительно ко вкусам басков: кажется, мы почему-то недооценили силу национального самосознания басков при изготовлении молочного шоколада с привкусом виски). Я очень поздно пришел домой, порезался бритвой и чуть было не надел не тот пиджак к моей единственной паре темных брюк. По дороге в Женеву мне пришлось остановиться у бензоколонки и расплатиться наличными, так как я забыл

переложить кредитную карточку из одного пиджака в другой. Все эти происшествия казались мне предзнаменованием неприятного вечера.

9

Дверь мне открыл мерзкий слуга, которого я надеялся никогда больше не увидеть. У подъезда стояло пять дорогих автомобилей, в двух сидели шоферы, и мне показалось, что слуга взглянул на мой маленький «фиат-500» с презрением. Потом он осмотрел мой костюм, и я заметил, как его брови поползли вверх.

– Фамилия? – спросил он, хотя я был уверен, что он отлично ее запомнил.

Он говорил по-английски с легким акцентом обитателя лондонских трущоб. Значит, кто я по национальности, он запомнил.

– Джонс, – сказал я.

– Доктор Фишер занят.

– Он меня ждет, – сказал я.

– Доктор Фишер ужинает с друзьями.

– Я тоже с ними ужинаю.

– Вы получили приглашение?

– Разумеется, получил.

– Покажите.

– Не покажу. Я оставил его дома.

Он злобно смотрел на меня, но заколебался – это было заметно.

– Не думаю, – сказал я, – что доктор Фишер будет доволен, если за его столом окажется пустое место. Лучше ступайте и спросите его.

– Как, вы сказали, вас зовут?

– Джонс.

– Следуйте за мной.

Я проследовал за его белой курткой через переднюю и вверх по лестнице. На площадке он повернулся ко мне и произнес:

– Если вы меня обманули... Если вас не приглашали...

Он двинул кулаками, как боксер на тренировке.

– Как вас зовут? – спросил я.

– А вам какое дело?

– Просто я хочу рассказать доктору, как вы встречаете его друзей.

– Друзей? – сказал он. – У него нет друзей. Говорю вам, если вас не приглашали...

– Меня пригласили.

Мы повернули в противоположную сторону от кабинета, где я видел доктора Фишера в прошлый раз, и слуга распахнул одну из дверей.

– Мистер Джонс, – пробурчал он, и я вошел, а там стояли и глазели на меня все жабы.

Мужчины были в смокингах, а миссис Монтгомери в вечернем платье.

– Входите, Джонс, – сказал доктор Фишер. – Альберт, можете подавать ужин, как только он будет готов.

Стол был сервирован хрустальными бокалами, в которых отражался свет люстры над толовой; даже суповые тарелки выглядели дорого. Я немножко удивился, увидев тарелки. В это время года не едят холодного супа.

– Вот это Джонс, мой зять, – сказал доктор Фишер. – Извините его за перчатку Она скрывает какое-то увечье. Миссис Монтгомери, мистер Кипс, мсье Бельмон, мистер Ричард Дин, дивизионный командир Крюгер. – (Фишер был не из тех, кто путает звания.)

Я ощущал волны из враждебности, направленные на меня, как слезоточивый газ. За что? Возможно, виноват мой костюм. Своим появлением я снизил, так сказать, «высокий уровень» встречи.

– Я знаком с мсье Джонсом, – сказал Бельмон тоном свидетеля обвинения, устанавливающего личность преступника.

– Я тоже, – заметила миссис Монтгомери. – Мельком.

– Джонс – великий лингвист, – сказал доктор Фишер. – Он переводит письма насчет шоколада. – И я понял, что он наводил обо мне справки у моих хозяев. – Имейте в виду, Джонс, на наших маленьких собраниях мы говорим по-английски, так как Ричард Дин, хоть он, может быть, и звезда, других языков не знает; правда, иногда, выпив, он пытается говорить на чем-то вроде французского – после третьей рюмки. В фильмах на французском его дублируют.

Все рассмеялись, как по команде, за исключением Дина, который кисло улыбнулся.

– После рюмки-другой он может сыграть Фальстафа – не хватает только юмора и веса. Второе мы всемерно попытаемся сегодня возместить. Что касается юмора, тут мы, к сожалению, бессильны. Вы спросите: что же у него есть? Только быстро падающий успех у женщин и девчонок... Кипс, а вы почему невеселы? Что-нибудь не в порядке? Может, не хватает наших обычных аперитивов, но сегодня мне не хотелось портить вам аппетит перед тем, чем я хочу вас угостить.

– Нет, нет, уверяю вас доктор Фишер, все в порядке. В полном порядке.

– Я всегда слежу за тем, – сказал доктор Фишер, – чтобы на моих маленьких вечерах все были веселы.

– Мы веселимся до упаду, – сказала миссис Монтгомери, – до упаду.

– Доктор Фишер – отличный хозяин, – снисходительно сообщил мне дивизионный Крюгер.

– И такой щедрый, – добавила миссис Монтгомери. – Видите ожерелье, которое на мне, – это подарок, полученный на нашем последнем вечере. – На ней было тяжелое ожерелье из золотых монет – издали они показались мне южноафриканскими.

– Каждый всегда получает здесь маленький подарок, – шепнул Дивизионный. Он был очень старый и седой. На верно, его тянуло ко сну. Мне он понравился больше всех, поскольку он, как видно, отнесся ко мне благожелательнее остальных.

– Подарки вон там, – сказала миссис Монтгомери. – Я помогала их выбирать. – Она подошла к столику для закусок, где я теперь заметил кучу пакетов в подарочной обертке. Одного из них она коснулась кончиком пальца, как ребенок, который трогает рождественский чулок, чтобы по шороху определить его содержимое.

– А за что дают подарки? – спросил я.

– Во всяком случае, не за умственные способности, – ответил доктор Фишер, – иначе Дивизионный никогда бы ничего не получил.

Все уставились на кучу подарков.

– От нас требуется только не перечить маленьким причудам хозяина, – объяснила миссис Монтгомери, – и тогда он раздаст подарки. Был такой вечер – можете поверить? – когда нам подали живых омаров и миски с кипящей водой. Каждому надо было изловить и сварить своего омара. Один из них ущипнул генерала за палец.

– У меня до сих пор остался шрам, – пожаловался Дивизионный.

– Единственное боевое ранение, которое он получил за всю свою жизнь, – вставил доктор Фишер.

– Было так весело, – пояснила мне миссис Монтгомери, словно я мог чего-то не понять.

– Так или иначе, – сказал доктор Фишер, – но после того вечера волосы у нее посинели. Раньше они были противного серого цвета с никотиновыми пятнами.

– Вовсе не серого – я естественная блондинка, и никаких никотиновых пятен у меня не было.

– Не нарушайте правил, миссис Монтгомери, – сказал доктор Фишер. – Еще раз мне возразите – и потеряете право на подарок.

– На одном из наших вечеров это случилось с мистером Кипсом, – сказал мсье Бельмон. – Он остался без зажигалки из золота семьдесят второй пробы. Вот как эта. – Он вынул из кармана кожаный футляр.

– Не большая потеря, – сказал мистер Кипс. – Я не курю.

– Осторожнее, Кипс. Не брезгуйте моими подарками – не то не видать вам вашего и сегодня.

Я подумал: «Да ведь это же сумасшедший дом во главе с сумасшедшим врачом». Только любопытство удерживало меня за столом – никакой подарок в мире, конечно, не заставил бы меня остаться.

– Пожалуй, прежде чем мы сядем ужинать, – сказал доктор Фишер, – а ужин, я очень надеюсь, вам понравится и вы отдадите ему должное, поскольку я тщательно обдумал меню, – нужно объяснить нашему новому гостю этикет, который мы соблюдаем за столом.

– Это совершенно необходимо, – сказал Бельмон. – Вы меня извините, но, я думаю, вам,

вероятно, следовало поставить вопрос о его присутствии хотя бы на голосование. В конце концов, у нас же тут что-то вроде клуба.

– Я согласен с Бельмоном, – вставил мистер Кипс. – Все мы знаем, что к чему. Принимаем определенные условия, только для того, чтобы позабавиться. Посторонний может все понять превратно.

– Мистер Кипс в поисках доллара, – заметил доктор Фишер. – Бойтесь, что с появлением еще одного гостя ценность подарков уменьшится? После смерти двоих наших друзей вы ведь надеялись, что их ценность возрастет.

Наступило молчание. Судя по выражению глаз мистера Кипса, я подумал, что он готов дать отпор, но этого не произошло.

– Вы поняли меня превратно, – вот и все, что он сказал.

Для того, кто не был на ужине, этот разговор мог бы показаться всего лишь шутливой перепалкой между членами клуба, которые добродушно осыпают друг друга колкостями, прежде чем сесть за стол, вкусно поужинать, выпить и по-приятельски побеседовать. Но я смотрел на их лица и видел, что шутки граничат с непристойностью, в пикировке слышатся ложь и лицемерие, а над комнатой словно туча нависла ненависть – ненависть хозяина к гостям и гостей к хозяину. Я был здесь совершенно чужим, и, хотя каждый из них мне не нравился, мои чувства еще были далеки от ненависти.

– Тогда к столу, – сказал доктор Фишер, – и, пока Альберт подаст ужин, я объясню нашему новому гостю характер моих маленьких приемов.

Я оказался рядом с миссис Монтгомери, сидевшей справа от хозяина. Справа от меня поместился Бельмон, а напротив – актер Ричард Дин. Рядом с каждой тарелкой стояла бутылка хорошего иворнского вина, и только наш хозяин, как я заметил, отдавал предпочтение польской водке.

– Прежде всего, – начал доктор Фишер, – я попрошу вас почтить память двоих наших... друзей – да будет разрешено мне назвать их по этому случаю друзьями – в годовщину их смерти два года назад. Странное совпадение. Хотя я выбрал сегодняшней день по этой причине. Мадам Фэверджон сама наложила на себя руки. Полагаю, что она больше не могла себя выносить – ведь и мне выносить ее было трудно, хотя поначалу она показалась мне интересным экземпляром. Из всех людей за этим столом она была самой жадной, а это кое-что значит. Она была и богаче вас всех. В какие-то минуты я замечал у каждого из вас желание возмутиться теми критическими замечаниями, которые я делал по вашему адресу, и мне приходилось напоминать о подарках, ожидающих вас в конце ужина, и опасности их потерять. Но мадам фэверджон напоминать об этом не приходилось. Она готова вытерпеть все что угодно, лишь бы заслужить подарок, хотя свободно могла купить себе не менее дорогой сама. Она была гнусной женщиной, отвратительной женщиной, и все же я должен признать, что под конец она проявила известную отвагу. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из вас – даже наш доблестный Дивизионный – мог с ней сравниться. Сомневаюсь, что кому-нибудь из вас даже пришла в голову мысль избавить мир от своего бесполезного присутствия. Поэтому я прошу вас поднять бокал за тень мадам Фэверджон.

Я выпил, как и все остальные.

Вошел Альберт, неся на серебряном подносе большую банку икры и серебряные тарелочки с ломтиками лимона и яйцами с луком.

– Извините Альберта за то, что он подает мне первому, – сказал доктор Фишер.



– Обожаю икру, – заявила миссис Монтгомери. – Я могла бы питаться одной икрой.

– Вы могли бы питаться одной икрой, если бы захотели тратить на нее свои деньги.

– Я не такая уж богачка.

– Не трудитесь мне врать. Если бы вы не были так богаты, вы бы не сидели за этим столом. Я приглашаю только самых богатых.

– А как же мистер Джонс?

– Он здесь скорее в качестве наблюдателя, чем гостя, хотя, конечно, будучи моим зятем, может вообразить, что у него есть большие надежды на будущее. Надежды – тоже своего рода богатство. Я уверен, что мистер Кипс мог бы устроить ему солидный кредит, а так как надежды не облагаются налогом, ему даже не придется советоваться с мсье Бельмоном. Альберт, слюнявчики.

Тут я впервые заметил, что возле наших приборов не было салфеток. Альберт повязал слюнявчик на шею миссис Монтгомери. Она взвизгнула от удовольствия:

– Ecrevisses! [Раки! (франц.)] Обожаю ecrevisses!

– Мы не выпили за покойного, оплакиваемого нами мсье Грозели, – сказал Дивизионный, поправляя слюнявчик. – Не стану притворяться, будто этот человек лично мне нравился.

– Тогда поторопимся, пока Альберт принесет вам ужин. За мсье Грозели! Он присутствовал только на двух наших ужинах, прежде чем умер от рака, поэтому я не успел изучить его характер. Если бы я знал, что он болен раком, я ни за что бы его сюда не пригласил. Я рассчитываю, что мои гости будут развлекать меня куда дольше. А вот и ваш ужин, теперь я могу приняться за свой.

Миссис Монтгомери испустила пронзительный вопль:

– Да ведь это овсянка, холодная овсянка!

– Настоящая шотландская овсянка. Вам, при вашей шотландской фамилии, она должна понравиться.

Доктор Фишер положил себе икры и налил рюмку водки.

– Она испортит нам аппетит, – сказал Дин.

– Не надо этого бояться. Больше ничего не будет.

– Это уж слишком, доктор Фишер, – сказала миссис Монтгомери. – Холодная овсянка. Она же совершенно несъедобна!

– А вы ее и не ешьте. Не ешьте, миссис Монтгомери. Согласно правилам, вы только потеряете свой маленький подарок. По правде говоря, я заказал овсянку специально для Джонса. Подумал было о куропатках, но как бы он с ними управился одной рукой?

К моему удивлению, я увидел, что Дивизионный и Ричард Дин принялись есть, а мистер Кипс, во всяком случае, взял в руки ложку.

– Если бы дали немножко сахару, – сказал Бельмон, – это, пожалуй, сошло бы.

– Насколько я знаю, жители Уэльса... нет, нет, Джонс, я вспомнил: я хочу сказать – шотландцы, считают святотатством портить овсянку сахаром. Говорят, они даже едят ее с

солью. Вы, конечно, можете получить соль. Альберт, подайте господам соль. А миссис Монтгомери решила остаться голодной?

– Нет, нет, доктор Фишер, я не хочу портить вам эту маленькую шутку. Передайте мне соль. Хуже от этого овсянке не станет.

Минуты две, к моему изумлению, все они молча, с угрюмой сосредоточенностью ели. Возможно, рот у них был забит овсянкой.

– А вы почему не попробуете Джонс, – спросил доктор Фишер, кладя себе еще немного икры.

– Я не настолько голоден.

– И не настолько богат, – сказал доктор Фишер. – Вот уже не один год я изучаю жадность богачей. «Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится» – эти циничные слова Христа они воспринимают чересчур буквально. Обратите внимание: «дано будет», а не «заработано». Подарки, которые я раздаю после ужина, они легко могли бы сделать себе сами, но тогда они бы их заработали, хотя бы подписывая чек. Богачи терпеть не могут подписывать чеки. Отсюда успех кредитных карточек. Одна карточка заменяет сотню чеков. Они готовы на все, лишь бы получить свои подарки бесплатно. Это одно из самых трудных испытаний, которым я их до сих пор подверг, а поглядите, как быстро они поедают свою холодную овсянку, лишь бы поскорей наступило время раздачи подарков. А вы... боюсь, что если вы не станете есть, то ничего не получите.

– Дома меня ждет нечто куда более ценное, чем ваш подарок.

– Сказано весьма галантно, – заметил доктор Фишер, – но не будьте слишком самоуверенны. Женщины не всегда ждут. Сомневаюсь, чтобы отсутствие руки помогало любви... Альберт, мистер Дин желает получить вторую порцию.

– Ой, нет, – простионала миссис Монтгомери, – нет, только не по второй порции!

– Это специально для мистера Дина. Я хочу его откормить, чтобы он мог играть Фальстафа.

Дин кинул на него яростный взгляд, но взял вторую порцию.

– Я, конечно, шучу. Дин так же может сыграть Фальстафа, как Бритт Экланд – Клеопатру. Дин не актер, он сексуальный символ. Несовершеннолетние девчонки, Джонс, его обожают. Какое бы их постигло разочарование, если бы они увидели его раздетым. Я имею основания полагать, что как мужчина он слабак. Может, овсянка придаст вам сил, бедняга. Альберт, вторую порцию мистеру Кипсу. Вижу, миссис Монтгомери почти все съела. Поторопитесь, Дивизионный, поторопитесь Бельмон. Никаких подарков, пока все не кончат есть.

Я мог бы сравнить его с охотником, который, щелкая бичом, управляет сворой псов.

– Поглядите на них, Джонс. Они так торопятся доест, что даже забывают выпить.

– Не думаю, что иворнское хорошо идет под овсянку.

– Посмейтесь над ними, Джонс. Они не обидятся.

– Я не нахожу их смешными.

– Я, конечно, согласен, что такой ужин имеет свою драматическую сторону, а все же... Разве это зрелище не напоминает вам свиней, которые жрут из корыта? Можно даже подумать, что им это нравится. Мистер Кипс заляпал овсянкой рубашку. Почистите его, Альберт.

– Вы мне отвратительны, доктор Фишер.

Он перевел на меня взгляд – его глаза были похожи на осколки отшлифованного голубого камня. Несколько серых зерен икры застряло в его рыжих усах.

– Да, я могу понять, что вы сейчас чувствуете. Иногда я и сам чувствую то же самое, но мои исследования должны быть доведены до конца. Теперь уже я от них не откажусь. Bravo, Дивизионный, вы догоняете остальных. Хорошо работаете ложкой, Дин, мой мальчик, хотел бы я, чтобы ваши поклонницы видели, как вы обжираетесь.

– Зачем вы это делаете? – спросил я.

– А зачем я буду вам объяснять? Вы не из наших. И никогда не будете. Не питайте надежды на мой счет.

– Я и не питаю.

– Вижу, в вас говорит гордыня бедняка. Впрочем, почему бы мне вам и не объяснить. Вы ведь мне вроде сына. Я хочу выяснить, Джонс, есть ли предел жадности у наших богатых друзей. Существует ли для них «досюда – и ни шагу дальше». Настанет ли день, когда они откажутся зарабатывать свои подарки. Во всяком случае, не гордость поставит предел их жадности. Сегодня вечером вы это видите своими глазами. Как и герр Крупп, мистер Кипс с удовольствием сел бы за стол с Гитлером и в чаянии милостей разделил бы с ним любую трапезу... Дивизионный закапал овсянкой слюнявчик. Дайте ему чистый, Альберт. Кажется, сегодняшний вечер положит конец одному из экспериментов. Мне пришла в голову новая идея.

– Вы ведь и сами богач. А есть ли предел вашей жадности?

– Может быть, в один прекрасный день я это выясню. Но моя жадность другого сорта. Я не жаден до безделушек, Джонс.

– Безделушки – вещь довольно безвредная.

– Мне хочется думать, что моя жадность скорее похожа на жадность господ бога.

– Разве бог жаден?

– Ну, не воображайте ни на секунду, что я верю в него больше, чем верю в дьявола, но я всегда находил теологию забавной игрой ума. Альберт, миссис Монтгомери покончила со своей овсянкой. Можете взять у нее тарелку... О чем это я говорил?

– О том, что бог жаден.

– Что ж, люди верующие или сентиментальные уверяют, будто он жаден до нашей любви. Я предпочитаю думать, что, судя по тому миру, который, как говорят, он создал, у него, наверное, жадность только к нашему унижению, а

эту жадность разве можно когда-либо утолить? Она бездонна. Мир становится все более и более несчастным по мере того, как бог бесконечно закручивает гайки, хотя порой и подкидывает нам подарочки, чтобы облегчить унижения, которые мы терпим: ведь всеобщее самоистребление препятствовало бы его цели. Он дарит нам рак прямой кишки, насморк, недержание мочи. К примеру, вы бедняк, вот он и преподносит вам маленький подарочек – мою дочь, чтобы хоть ненадолго вас утешить.

– Она для меня очень большое утешение, – сказал я. – Если ее послал мне бог, я ему благодарен.

– А между тем ожерелье миссис Монтгомери сохранится дольше, чем ваша так называемая любовь.

– Почему же господу богу хочется нас унижать?

– А кому не хочется? Ведь говорят, что он сотворил нас по своему образу и подобию. Может, он понял, что был довольно плохим мастером, и разочаровался в результате своей работы. Бракованную поделку бросают в мусорный ящик. Вы только на них поглядите, Джонс, и посмейтесь. Неужели у вас нет чувства юмора?.. У всех уже пустые тарелки, кроме мистера Кипса, и все они сгорают от нетерпения! Смотрите, Бельмон даже помогает ему очистить тарелку. Не уверен, что это по правилам, но я закрою на это глаза. Потерпите еще минутку, друзья мои, пока я доем икру. Отвяжите им слюнявчики, Альберт.

10

– Это было отвратительно, – рассказывал я Анне-Луизе. – Твой отец, как видно, сумасшедший.

– Если бы он был сумасшедшим, это было бы куда менее отвратительно, – сказала она.

– Видела бы ты, как они набросились на его подарки – все, кроме мистера Кипса, которому пришлось сперва пойти в уборную, где его вырвало. Холодная овсянка не пошла ему впрок. Должен признать, что по сравнению с жабами твой отец сохранял какое-то достоинство, дьявольское достоинство. Все они были очень злы на меня, потому что я не участвовал в их игре. Я был как бы недружественным свидетелем. Вероятно, я словно поднес к их лицу зеркало, чтобы они почувствовали, как скверно себя ведут. Миссис Монтгомери сказала, что меня следовало выгнать из-за стола, как только я отказался есть овсянку. «Каждый из вас мог поступить так же», – возразил твой отец. «А тогда что бы вы сделали со всеми подарками?» – спросила она. «Может быть, в следующий раз удвоил бы ставки», – ответил он.

– Ставки? Что он имел в виду?

– Наверно, он ставил на их жадность, подвергая их унижению.

– А какие были подарки?

– Миссис Монтгомери подарили прекрасный изумруд в платиновой оправе с бриллиантовой короной, насколько я мог заметить.

– А мужчинам?

– Золотые электронные часы со всякими фокусами. Их получили все, кроме бедняги Ричарда Дина. Ему досталась собственная фотография в рамке из свиной кожи, которую я видел в магазине. «Вам остается только ее надписать», – сказал ему доктор Фишер, – и любая девчонка ваша». Дин ушел в бешенстве, а я последовал за ним. Он заявил, что никогда больше туда не придет. «Мне не нужна фотография, – сказал он, – чтобы получить любую девочку, какую я захочу», – и сел в свой спортивный «мерседес».

– Он вернется, – сказала Анна-Луиза. – Машина ведь тоже подарок. Но ты – ты ведь никогда туда больше не пойдешь, правда?

– Никогда.

– Обещаешь?

– Обещаю, – сказал я.

Но смерть перечеркивает обещания, говорил я себе потом. Обещания даются живому. Мертвый уже не тот человек, что когда-то жил. Даже любовь меняет свою природу. Любовь перестает быть счастьем. Превращается в чувство невыносимой утраты.

– И ты над ними не смеялся?

– Там не над чем было смеяться.

– Это должно было его огорчить, – заметила она.

Больше приглашений не последовало: нас оставили в покое, и что это был за покой в ту зиму – глубокий, как ранний снег, и почти такой же тихий. Снег падал, пока я работал (он пошел в тот год еще до конца ноября), он падал, пока я переводил письма из Испании и Латинской Америки, и тишина снежного покрова за стенами большого здания с цветными стеклами была подобна тишине счастья, царившей в нашем доме, – казалось, Анна-Луиза сидела тут, со мной, по другую сторону конторского стола, как будет сидеть вечером дома за последней партией в карты, прежде чем мы ляжем в постель.

11

В начале декабря по субботам и воскресеньям я увозил ее в горы, в Дьяблере, где она несколько часов каталась на лыжах. Мне было уже не по возрасту учиться ходить на лыжах, и я сидел в каком-нибудь кафе, читая «Журналь де Женев», и радовался, что она счастлива, петляя, как ласточка, по склонам морозной белизны. Словно цветы ранней весной, с первым снегом начали открываться гостиницы. Все предвещало прекрасное рождество. Я любил смотреть, как Анна-Луиза приходит ко мне в кафе со снегом на ботинках и щеки ее горят от мороза, точно свечки.

Как-то раз я ей сказал:

– Я еще никогда не был так счастлив.

– Зачем ты так говоришь? – спросила она. – Ты был женат. Ты был счастлив с Мэри.

– Я ее любил, – ответил я. – Но у меня никогда не было спокойно на душе. Мы были погодками, когда поженились, и я всегда боялся, что она умрет первой, как оно и случилось. Но тебя я получил на всю жизнь – если ты меня не бросишь. А если бросишь, это будет моя вина.

– А как же я? Ты должен жить так долго, чтобы мы могли уйти туда, куда все уходит, вместе.

– Постараюсь.

– В одни и тот же час?

– В один и тот же час.

Я засмеялся, и она тоже. Нам обоим смерть казалась серьезной темой. Нам предстояло быть вместе всегда и еще один день – *le jour le plus long* [самый долгий день (фр.)], как мы говорили.

Думаю, что, хотя доктор Фишер больше не давал о себе знать, мысль о нем все это время таилась где-то в глубине моего сознания, потому что однажды ночью я увидел его во сне как наяву. Он был в костюме и стоял у открытой могилы. Я смотрел на него с другой стороны ямы и крикнул ему с насмешкой: «Кого вы хороните, доктор? Это натворил ваш „Букет Зуболюба“?» Он поднял глаза и взглянул на меня. Он плакал, и я почувствовал в его слезах горький упрек. Вскрикнув, я проснулся и разбудил Анну-Луизу.

Странно, как мы можем весь день находиться под впечатлением сна. Доктор Фишер сопровождал меня на работу; он заполнял минуты бездействия между двумя переводами – и он все время был печальным доктором Фишером из моего сна, а не надменным доктором Фишером, который у меня на глазах сидел во главе стола со своим безумным ужином, издевался над гостями и заставлял их обнажать свою позорную жадность.

В тот вечер я сказал Анне-Луизе:

- Тебе не кажется, что мы слишком суровы к твоему отцу?
- Что ты хочешь этим сказать?
- Он, должно быть, очень одинок в этом большом доме у озера.
- У него есть друзья, – сказала она. – Ты с ними познакомился.
- Они ему не друзья.
- Он сделал их такими, какие они есть.

Тогда я рассказал ей про свой сон. На что она ответила:

- Может быть, это была могила моей матери.
- Он там был?
- Ну да, он там был, но слез я не видела.
- Могила была открыта. Во сне там не было ни гроба, ни священника, ни провожающих, только он сам, если не считать меня.
- Людей у могилы было много, – сказала она, – мою мать очень любили. Там были все слуги.
- Даже Альберт?
- Альберта в те дни не существовало. Был старый дворецкий – не помню его имени. После смерти матери он ушел, как и все остальные слуги. Отец начал новую жизнь в окружении незнакомых лиц. Пожалуйста, не будем больше говорить о твоём сне. Это похоже на кончик шерстяной нитки, который торчит из свитера. Потянешь – и начнет распускаться весь свитер.

Она была права, мой сон словно положил начало целому процессу распутывания. Возможно, мы были слишком счастливы. Возможно, мы слишком далеко ушли в тот мир, где существовали только мы двое...

На следующий день была суббота, а по субботам я на службу не ходил. Анна-Луиза хотела подыскать кассету для своего магнитофона (как и мать, она любила музыку), и мы пошли в магазин в старом районе Веве возле рынка. Ей хотелось купить новую запись симфонии Моцарта «Юпитер».

Из глубины магазина появился, чтобы нас обслужить пожилой человек невысокого роста (не знаю, почему я написал «пожилой» – вряд ли он был намного старше меня). Я от нечего

делать разглядывал альбом пластинок французского певца, часто выступающего по телевидению, и продавец подошел спросить, не может ли он помочь. Вероятно, его старил какой-то робкий, смиренный вид – вид человека, который достиг предела своих надежд и уже не ждет ничего, кроме маленьких комиссионных от продажи того, что тут продают. Сомневаюсь, слышал ли кто-нибудь еще в этом магазине о симфонии «Юпитер». Большую часть ассортимента составляла поп-музыка.

– А, Сорок первая симфония, – сказал он. – Венский симфонический оркестр. Очень хорошее исполнение, но не думаю, чтобы она была у нас. К сожалению, – добавил он с застенчивой улыбкой, – спрос на то, что называют настоящей музыкой, не очень велик. Если вы согласны подождать, я спущусь и поищу на складе. – Он бросил взгляд через мое плечо туда, где стояла (спиной к нам) Анна-Луиза, и заметил: – Может быть, раз уж я буду там, внизу, посмотреть еще какую-нибудь симфонию Моцарта?..

Наверно, Анна-Луиза это услышала и повернулась.

– Если у вас есть «Коронационная месса»... – сказала она и запнулась, потому что продавец уставился на нее с выражением, как мне показалось, похожим на ужас.

– «Коронационная месса»... – откликнулся он как эхо, но не тронулся с места.

– Да, Моцарта, – нетерпеливо повторила она и отошла в сторону, чтобы посмотреть кассеты на вертящейся подставке.

Продавец не спускал с нее глаз.

– Поп-музыка, – сказала она, крутя пальцем вертушку, – одна только поп-музыка.

Я поглядел на продавца.

– Извините, мсье, – сказал он, – сейчас я схожу посмотрю.

Он медленно двинулся к двери в глубине магазина, но на пороге оглянулся, сперва на Анну-Луизу, потом на меня. Он сказал:

– Честное слово... я постараюсь...

В его словах мне послышался призыв о помощи, словно там, внизу, его ожидало нечто ужасное. Я подошел к нему и спросил:

– Вам нездоровится?

– Нет, нет. Немножечко напилывает сердце – и все.

– Вам следовало бы отдохнуть. Я попрошу кого-нибудь из других продавцов...

– Нет, нет. Пожалуйста, не надо. Но можно мне вас о чем-то спросить?

– Разумеется.

– Та дама, с вами...

– Моя жена?

– Ах, ваша жена... она мне так напомнила... вам это покажется нелепым, дерзким... одну даму, которую я когда-то знал. Конечно, прошло много лет, она должна была постареть... почти так же, как я, а эта молодая дама, ваша жена...

И вдруг я понял, кто стоял передо мной, придерживаясь рукой за дверной косяк, – старый, смиренный, неспособный на борьбу, да он никогда и не был на нее способен. Я сказал:

– Это дочь доктора Фишера, доктора Фишера из Женевы.

У него медленно подогнулись колени, словно он хотел опуститься для молитвы, а потом голова его ударилась об пол.

Девушка, которая показывала покупателю телевизор, прибежала мне на помощь. Я попытался повернуть упавшего, но даже самое легкое тело становится тяжелым, когда оно безжизненно. Вдвоем мы положили его на спину, она расстегнула ему воротничок.

– Ах, бедный мсье Стайнер! – сказала она.

– Что случилось? – спросила Анна-Луиза, отойдя от вертушки для кассет.

– Сердечный приступ.

– Ох, – сказала она, – бедный старик.

– Вызовите «скорую помощь», – сказал я девушке.

Стайнер открыл глаза. Над ним склонились три лица, но он смотрел только на одно, слегка покачал головой и улыбнулся.

– Что же произошло, Анна? – спросил он.

Через несколько минут подъехала «скорая помощь», и мы вышли из магазина вслед за носилками.

В машине Анна-Луиза сказала:

– Он заговорил со мной. Он знал мое имя.

– Он сказал Анна, а не Анна-Луиза. Он знал имя твоей матери.

Она промолчала, но поняла не хуже меня, что это значило. За обедом она спросила:

– Как его зовут?

– Девушка назвала его Стайнер.

– Я не знала его имени. Мать просто называла его «он». – В конце обеда она сказала: – Ты не съездишь в больницу, посмотреть, как он там? Мне нельзя. Для него это было бы новым потрясением.

Я нашел его в больнице над Веве, где каждого пациента или взволнованного посетителя встречает объявление, адресующее его в Centre funeraire [похоронное бюро (франц.)]. Выше, на горе, автомобильная дорога неумолимо наигрывает бетонную симфонию. Его поместили в одну палату с бородатым стариком, который лежал на спине с широко открытыми глазами, уставясь в потолок, – я принял бы его за мертвеца, если бы он иногда не моргал, не отрывая глаз от белого штукатурного неба.

– Как это любезно, что вы зашли справиться обо мне, – сказал Стайнер, – но вам не стоило беспокоиться. Меня завтра выпишут с условием, чтобы я не переутомлялся.

– В отпуск?



– Нет необходимости. Мне ведь не приходится таскать тяжести. Телевизорами занимается девушка.

– Приступ вызвала вовсе не тяжесть, – сказал я.

Я посмотрел на старика, его соседа. С тех пор как я вошел, он не шевельнулся.

– Не обращайтесь внимания, – сказал Стайнер. – Он не разговаривает и не слышит, когда к нему обращаются. Я спрашиваю себя, о чем он думает. Может быть, о долгом путешествии, которое ему предстоит.

– В магазине я испугался, что и вы пустились в "это путешествие.

– Мне не так повезло.

У него явно не было желания бороться со смертью.

– Она очень похожа на свою мать, когда та была в ее возрасте, – сказал он.

– Это и вызвало приступ?

– Сперва я решил, что мне кажется. После ее смерти я много лет вглядывался в женские лица, отыскивая сходство, потом перестал. Но сегодня утром вы произнесли его имя. Наверно, он еще жив. Я, конечно, узнал бы из газет, если бы он умер. В Швейцарии каждый миллионер удостоивается некролога. Вы должны его знать, раз женились на его дочери.

– Я видел его всего два раза, но и этого достаточно.

– Вы ему не друг?

– Нет.

– Он жестокий человек. Он никогда и в глаза меня не видел, но погубил меня. И все равно что убил ее, хотя она ни в чем не была виновата. Я ее любил, но она меня не любила. Ему нечего было бояться. Это никогда бы не повторилось. – Он бросил взгляд на старика, но тут же успокоился. – Она любила музыку, – сказал он. – Особенно Моцарта. Дома у меня есть пластинка с «Юпитером». Я хотел бы ее подарить вашей жене. Вы можете ей сказать, что я нашел ее на складе.

– У нас нет проигрывателя – только магнитофон.

– Пластинка была записана еще в докассетные дни, – сказал он таким тоном, каким говорят о доавтомобильной эре.

Я его спросил:

– Что вы имели в виду, когда сказали: это никогда бы не повторилось?

– В этом я виноват... и Моцарт... и ее одиночество. Она не повинна в своем одиночестве. – Он произнес это даже с гневом (возможно, подумал я, если бы дать ему время, он научился бы и бороться). – Может, он и сам знает теперь, что такое одиночество.

– Значит, вы

были ее любовником, – сказал я. – Я думал, судя по словам Анны-Луизы, что до этого так и не дошло.

– Мы не были любовниками, – сказал он, – вы не должны так говорить... не во

множественном числе. Она позвонила мне на другой же день, пока муж был в конторе. Мы оба согласились, что это для нее неправильно... я хочу сказать – неприлично, запутаться во лжи. Тут для нее нет будущего. Как оказалось, для нее и так не было будущего.

– Жена сказала, что ее мать просто заставила себя умереть.

– Да.

Моя воля была недостаточно сильна. Странно, не права ли? Она меня не любила, а все же нашла в себе силы умереть. Я ее любил, а у меня не хватило сил умереть. Я смог пойти на похороны: ведь он не знал меня в лицо.

– Значит, там был еще кто-то, кто ее оплакивал... помимо Анны-Луизы и слуг.

– Что вы этим хотите сказать? Он плакал. Я видел, как он плакал.

– Анна-Луиза говорит, что он не плакал.

– Ошибается. Она была еще ребенком. Наверно, не заметила. Да и какая разница.

Кто был прав? Я вспомнил доктора Фишера за ужином, как он подхлестывал свою свору. Уж я-то не мог представить себе его плачущим – а, впрочем, какое это имеет значение?

– Знаете, – сказал я, – мы всегда будем вам рады. Я хочу сказать, что жена будет рада вас видеть. Выпьем как-нибудь вечером рюмочку?

– Нет, – сказал он. – Лучше не надо. Пожалуй, мне этого не вынести. Понимаете, они так похожи.

После этого говорить было больше не о чем. Я не рассчитывал, что когда-нибудь еще его увижу. Я был уверен, что на этот раз он поправится; впрочем, ни одна газета не сообщила бы о его смерти. Он не был миллионером.

Я передал Анне-Луизе то, что он рассказал.

– Бедная мама, – произнесла она. – Но это была всего лишь маленькая ложь. Если это случилось только раз.

– Удивительно, как

он узнал. – Странно, как редко мы называли их по именам. Обычно мы говорили «он» или «она», но никогда не происходило путаницы. Вероятно, это тоже телепатия, которая существует у любящих.

– Она говорила, что, когда он начал подозревать – хотя на самом-то деле подозревать было нечего, – он установил какую-то штуку на телефон, чтобы записывать разговоры. Он сам ей это сказал, так что, когда произошел

тот разговор, он все и узнал. И все же меня бы не удивило, если бы она все рассказала ему сама и пообещала, что этого больше не будет. Может быть, она солгала мне потому, что я была слишком маленькой, чтобы понять. Слушать вдвоем Моцарта, держась за руки, было для меня тогда почти то же, что и любовные объятия, – как, впрочем, и для него... я имею в виду отца.

– Интересно, действительно ли он плакал на похоронах.

– Я в это не верю – если только он не плакал оттого, что жертва ускользнула. Может, это была сенная лихорадка. Она умерла в сезон, когда страдают сенной лихорадкой.

Наступило рождество, и снег покрыл землю до края озера; это было самое холодное рождество за многие годы – на радость собакам, детям и лыжникам, но я не принадлежал ни к тем, ни к другим, ни к третьим. В конторе очень хорошо топили; сад снаружи казался синим сквозь цветные стекла, но меня все равно пробирал озноб. Я ощущал себя чересчур старым для моей работы: постоянно иметь дело с шоколадом – молочным, простым, с миндалем и каштанами – больше пристало человеку помоложе или девушке.

Я удивился, когда один из моих начальников отворил дверь моего кабинета и впустил мистера Кипса. Мне показалось, что ожила карикатура: согнувшись чуть не вдвое, мистер Кипс шел ко мне с протянутой рукой – словно не здоровался, а отыскивал потерянный доллар. Сослуживец сказал почтительно, к чему я не привык:

– По-моему, вы знакомы с мистером Кипсом.

– Да, – сказал я, – познакомились у доктора Фишера.

– Я не знал, что вы знакомы с доктором Фишером.

– Мистер Джонс женат на его дочери, – сказал мистер Кипс.

Мне показалось, что на лице моего начальника отразился страх. До сих пор я ничем не привлекал его внимания и вдруг стал представлять опасность – ведь зять доктора Фишера, имея такую поддержку, может занять место и в правлении!

Я неосторожно позволил себе над ним чуть-чуть подтрунить.

– «Букет Зуболюба», – сказал я, – пытается смягчить вред, который мы тут причиняем зубам. – Это было весьма опрометчивое замечание: оно могло быть сочтено нелояльным. Крупные предприятия, как и разведка, требуют от своих подчиненных не столько порядочности, сколько лояльности.

– Мистер Кипс – друг нашего управляющего, – сказал мой начальник. – У него небольшое затруднение с переводом, и управляющий хочет, чтобы вы ему помогли.

– Мне надо послать письмо в Анкару, – сказал мистер Кипс. – Я хочу приложить к нему перевод на турецкий, чтобы не было недоразумений.

– Я вас оставляю, – сказал начальник, и, когда дверь за ним закрылась, мистер Кипс предупредил: – Это, конечно, не подлежит разглашению.

– Понимаю.

Я действительно понял это с первого взгляда. Там упоминались Прага и «Шкода», а «Шкода» для всего мира означает оружие. Швейцария – страна причудливо переплетающихся деловых афер: множество не только политических, но и финансовых махинаций совершается в этом маленьком, безобидном, нейтральном государстве. Все технические термины, которые надо было перевести, как я увидел, относились к вооружению. (На какое-то время я попал в сферу, далекую от шоколада.) Вроде бы существовало американское акционерное общество «И.К.Ф.К.», которое вроде бы покупало оружие для Турции у Чехословакии. Конечный адресат этого оружия – только стрелкового – был неясен. Там упоминалось имя, которое могло быть палестинским или иранским.

Турецкий язык я забыл в значительно большей мере, чем испанский, – у меня было мало практики (мы редко имели дело со страной рахат-лукума), и я долго провозился с переводом.

– Я попрошу это перепечатать начисто, – сказал я мистру Кипсу.

– Предпочел бы, чтобы вы сделали это сами, – сказал он.

– Секретарша не понимает по-турецки.

– Все равно.

Когда я кончил печатать, мистер Кипс сказал:

– Я понимаю, что вы делали это в служебное время, и тем не менее небольшой подарок?..

– Совершенно необязательно.

– Могу я хотя бы послать коробку шоколада вашей жене? Может, конфет с ликером?

– Ах, знаете, мистер Кипс, в нашем доме недостатка в шоколаде не бывает.

Мистер Кипс, по-прежнему сгибаясь чуть не вдвое, так что нос его почти касался стола, словно вынюхивая все тот же увертливый доллар, сложил письмо, черновик и спрятал их в бумажник. Он сказал: – Когда мы увидимся у доктора Фишера, вы, конечно, не станете упоминать... Это дело в высшей степени секретное.

– Не думаю, что мы когда-нибудь с вами там увидимся.

– Почему? В это время года, если погода хорошая, он несмотря на снег, устраивает самый пышный прием в году. Думаю, что скоро мы получим приглашения.

– Я был на одном приеме, и с меня хватит.

– Должен признать, что последний прием был недостаточно продуман. И тем не менее он останется в памяти его друзей как Овсяный ужин. Крабовый ужин был гораздо занятнее. Но никогда не знаешь, чего можно ждать от доктора Фишера. Был Перепелиный ужин, который так расстроил мадам Фэверджен... – Он вздохнул. – Она обожала птиц. На всех ведь не угодишь.

– Но подарками, думаю, он угождает всем.

– Да, он очень, очень щедрый.

Мистер Кипс, согнувшись крючком, двинулся к двери: казалось, на серой дорожке отпечатан маршрут, по которому он должен следовать. Я крикнул ему вслед: – Встретил бывшего вашего служащего. Он работает в музыкальном магазине. Некий Стайнер.

Он сказал: – Не помню такого. – И, не останавливаясь, продолжал свой путь по начертанному маршруту.

Вечером я рассказал об этой встрече Анне-Луизе.

– Никуда от них не денешься, – огорчилась она. – Сперва бедняга Стайнер, а теперь мистер Кипс.

– Просьба мистера Кипса никак не была связана с твоим отцом. Наоборот, если я твоего отца увижу, он просил не упоминать о нашей встрече.

– И ты обещал?

– Конечно. Я не собираюсь больше с ним встречаться.

– Но теперь они этой тайной связали тебя с ними, верно? Они не выпустят тебя из рук. Хотят, чтобы ты стал одним из них. Не то будут чувствовать себя в опасности.

– В опасности?

– Опасаясь, что кто-то посторонний поднимет их на смех.

– Ну, знаешь, боязнь, что над ними будут смеяться, не очень-то их удерживает.

– Я знаю. Жадность всегда берет верх.

– Интересно, что же это был за Перепелиный ужин, если мадам Фэверджон так расстроилась.

– Что-нибудь отвратительное. Можешь не сомневаться.

Снег продолжал падать. Рождество сулило быть белоснежным. На дорогах даже образовались заносы, и аэропорт Куэнтрен был на сутки закрыт. Нас это не трогало. Это было первое рождество, которое мы проводили вместе, и мы праздновали его как дети – со всеми почестями. Анна-Луиза купила елку, и мы положили под нее подарки друг другу, празднично обернутые в яркую бумагу и перевязанные ленточками. Я чувствовал себя скорее отцом, чем любовником или мужем. Меня это не огорчало: отец умирает первым.

В сочельник снег прекратился, и мы пошли в старинное аббатство в Сен-Морисе на полуночную мессу и выслушали еще более старинную историю о личном приказе императора Августа, который подверг наш мир страшному испытанию ["В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле" (библ.)]. Мы оба не были католиками, но рождество – это праздник, напоминающий детство. Вполне уместно было там присутствие Бельмона, он внимательно слушал приказ императора, держась сам по себе, как и на нашей свадьбе. Быть может, Святому семейству следовало прислушаться к совету Бельмона и как-нибудь уклониться от регистрации брака в Вифлееме.

Когда мы выходили, он ждал нас у дверей, и мы не могли от него скрыться, от его темного костюма, темного галстука, темных волос, худого тела, тонких губ и искусственной улыбки.

– Счастливого рождества, – пожелал он нам, подмигнул и сунул мне в руки конверт, как налоговую повестку. На ощупь я почувствовал, что там карточка. – Не доверяю почте на рождество, – сказал он. И замахал рукой. – Вот и миссис Монтгомери. Я был уверен, что она будет здесь. Она такая сторонница объединения церквей.

Голубые волосы миссис Монтгомери были покрыты голубым шарфом, и я заметил новый изумруд во впадине ее тощей шеи.

– Ха-ха, как полагается, мсье Бельмон со своими карточками. И юная чета. Желаю всем вам счастливого рождества. Почему-то не видела в церкви генерала. Надеюсь, он не заболел. Ага! Вот и он.

И действительно, в пролете двери появился Дивизионный, словно оживший портрет крестоносца: с прямой, как палка, спиной и одной ногой, не гнувшейся от ревматизма, с носом конкистадора и свирепыми усами, – трудно было поверить, что он ни разу в жизни не слышал выстрела неприятеля. Он тоже был в одиночестве.

– А мистер Дин?! – воскликнула миссис Монтгомери. – Он-то

наверняка должен быть здесь. Он ведь всегда приходит, если не уезжает куда-нибудь за границу на съемки.

Я видел, что мы совершили очень большую ошибку. Полуночная месса в Сен-Морисе была таким же светским мероприятием, как званый коктейль. Мы бы так и не унесли ноги, если бы в эту минуту в дверях церкви не появился красивый, опухший от пьянства Ричард Дин. Мы сбежали, едва успев разглядеть, что он ведет на буксире хорошенькую девчонку.

– Господи! – сказала Анна-Луиза. – Все жабы в сборе.

– Мы же не знали, что они будут здесь.

– Я не очень верю во всю эту историю с рождеством, но хочу поверить, а вот жабы... Зачем они-то приходят?

– Наверно, обычай, как у нас елка. В прошлом году я пришел сюда один. Непонятно почему. Вероятно, и они тоже все были здесь, но в те дни я никого из них не звал... в те дни... кажется, с тех пор прошли годы. Я даже не знал, что ты существуешь.

В ту ночь, лежа в постели, в счастливый короткий промежуток между любовью и сном, мы могли весело посмеяться над жабами, словно это был комический хор в нашей собственной пьесе, которая только одна имела для нас значение.

– Как ты думаешь, у жаб есть душа? – спросил я Анну-Луизу.

– Разве не у всех есть душа – конечно, если вообще верить в души?

– Это официальная точка зрения, но я смотрю на дело иначе. Я думаю, что души развиваются из зародыша, как мы сами. Мы в зародыше – еще не человеческие существа, в нас есть еще что-то от рыбы, и зародыш души – еще не душа. Сомневаюсь, чтобы у маленьких детей души было больше, чем у собак, может быть, поэтому католическая церковь изобрела чистилище.

– А у тебя есть душа?

– По-моему, вроде есть – замызганная, но все же есть. Однако, если души существуют, у тебя она есть наверняка.

– Почему?

– Ты страдала. За мать. Маленькие дети и собаки не страдают. Разве что за себя.

– А у миссис Монтгомери?

– Души не красят волосы синькой. Можешь себе представить, чтобы она сама когда-нибудь задавалась вопросом, есть ли у нее душа?

– А у мсье Бельмона?

– Ему было некогда ее вырастить. Страны меняют свои налоговые установления каждый бюджетный год, закрывая возможности их обойти, и ему приходится все время выдумывать новые лазейки. Душе нужна личная жизнь. А у Бельмона на личную жизнь нет времени.

– А у Дивизионного?

– Тут я не совсем уверен. Может статься, что у неге все-таки есть душа. Какой-то он не очень счастливый.

– А это всегда признак?

– По-моему, да.

– А у мистера Кипса?

– Нет у меня уверенности и на его счет. Чувствуется в мистере Кипсе неудовлетворенность. Может, он что-то потерял и теперь ищет. Может, он ищет свою душу, а не доллар.

– А Ричард Дин?

– У него ее нет. Определенно нет. Никакой души. Мне говорили, что у него есть копии всех его старых фильмов и он каждый вечер их для себя прокручивает. У него нет времени даже на то, чтобы прочесть сценарий очередного фильма. Его удовлетворяет собственная персона. Если у тебя есть душа, ты не можешь быть удовлетворен собой.

Потом мы долго молчали. Нам давно полагалось бы заснуть, но мы оба знали, что другой не спит, думая об одном и том же. Моя глупая шутка обернулась чем-то серьезным. Мысль эту выразила вслух Анна-Луиза:

– А у моего отца?

– Ну, у него-то душа есть, – сказал я, – но мне кажется, что душа у него окаянная.

13

В жизни большинства людей, вероятно, бывает день, когда самая обыденная подробность отпечатывается в памяти навсегда. Таким стал для меня последний день года – суббота. Накануне вечером мы решили с утра, если погода позволит Анне-Луизе покататься на лыжах, съездить в Ле-Пако. В пятницу началась небольшая оттепель, но к ночи подморозило. Мы поедем пораньше, пока на склонах немного народу, и пообедаем там в отеле. Я проснулся в половине восьмого и позвонил в справочную метеослужбы. Все хорошо, хотя рекомендуется соблюдать осторожность. Я поджарил хлеб, сварил два яйца и подал Анне-Луизе завтрак в постель.

– Почему два яйца? – спросила она.

– Потому что ты помрешь с голоду до обеда, если собираешься приехать к открытию фуникулера.

Она надела новый свитер, который я подарил ей на рождество, – из толстой белой шерсти с широкой красной полосой на груди; она выглядела в нем замечательно. Мы двинулись в путь в половине девятого. Дорога была неплохая, но, как и предупреждала метеослужба, местами был гололед, поэтому в Шатель-Сен-Дени мне пришлось надеть на колеса цепи, и фуникулер открылся до того, как мы приехали. В Сен-Дени мы немножко поспорили. Она хотела сделать большой круг от Корбетты и спуститься по «черной лыжне» от Ле-Прале, но я беспокоился и уговорил ее спуститься по более легкой «красной лыжне» в Ла-Сьерн.

В душе я был рад, что у подъемника в Ле-Пако уже дожидалось много народу. Мне казалось, что так безопаснее. Я не любил, когда Анна-Луиза спускалась на лыжах по пустому склону. Это было слишком похоже на купанье на пустом пляже. Почему-то всегда боишься, что для безлюдья должна быть веская причина: незаметное загрязнение воды или предательское течение.

– Ох, – сказала она, – какая жалость, что я не первая. Я так люблю пустую piste [здесь: лыжня (франц.)].

– Безопаснее, когда рядом кто-то есть, – сказал я. – Вспомни, какая была дорога. Веди себя осторожно.

– Я всегда осторожна.

Я подождал, пока она начнет подниматься, и помахал ей вдогонку. Я следил за ней, пока она не скрылась из виду среди деревьев; мне легко было выделить ее среди других благодаря красной полосе на свитере. Потом я пошел в отель «Корбетта» с книжкой, которую захватив с собой. Это была антология стихов и прозы под названием «Рюкзак», изданная маленьким форматом Гербертом Ридом [Герберт Рид (1893-1968) – английский поэт, критик, издатель] в 1939 году, после того как началась война: она легко умещалась в солдатском вещмешке. Я никогда не был солдатом, но полюбил эту книжечку во время «странной войны» Она скрашивала мне долгие часы дежурства на лондонском пожарном посту в ожидании бомбежки, которая, казалось, так никогда и не начнется, пока другие, не снимая противогазов, убивали время игрой в метание стрел. Сейчас я выбрал эту книжку, но кое-какие отрывки, прочитанные мною в тот день, остались в памяти, как та ночь в 1940 году, когда я потерял руку. Я отчетливо помню, что я читал, когда завывала сирена: по иронии судьбы это было стихотворение Китса «Ода греческой вазе»:

Напев звучащий улаживает ухо,

Но сладостней неслышимая трель.

Неслышимая сирена, безусловно, была бы сладостней. Я хотел дочитать оду до конца, но успел только прочесть:

Тот городок, что у река ютился,

Благочестивым утром опустел,

когда мне пришлось вылезти из нашего относительно безопасного убежища. В два часа ночи слова эти вернулись ко мне, словно я их открыл в sortes Virgilianae [гадание по «Энеиде» Вергилия, принятое в средние века и позже], потому что на городских улицах поистине царил странное безмолвие – весь шум был наверху: треск огня, шипение воды и рев бомбардировщиков, будто твердивших: «Где вы? Где вы?» Словно нечто вроде затишья возникло среди развалин перед тем, как неразорвавшаяся бомба почему-то пришла в себя, прорвала тишину и оставила меня без руки.

Я помню... но в тот день не было ничего до самого вечера, что я мог бы забыть... вот, например, я помню глупый спор с официантом в отеле «Корбетта» из-за того, что я хотел получить место у окна, откуда мне была бы видна дорога, по которой она будет возвращаться от подножия Ла-Сьерна. Столик только что освободил предыдущий посетитель, и на нем



стояли грязная чашка с блюдцем, которые официанту, как видно, не хотелось убирать. Это был угрюмый человек, говоривший с иностранным акцентом. Думаю, что он был взят временно: швейцарские официанты самые вежливые на свете, и, помню, я подумал, что долго он здесь не удержится.

Без Анны-Луизы время тянулось медленно; читать мне надоело, и с помощью двухфранковой монеты я уговорил официанта сохранить за мной столик, пообещав, что, когда настанет время обеда, мы придем вдвоем. Теперь уже подъезжало много машин с лыжами, привязанными на крыше, и у фуникулера образовалась длинная очередь. Один из спасателей, которые всегда дежурят в отеле, рассказывал приятелю в очереди: «Последний несчастный случай был в понедельник. Мальчик лодыжку сломал. Вечно с ними что-нибудь случается во время каникул». Я пошел в лавчонку рядом с отелем спросить французскую газету, но там была только лозаннская, которую я уже пробежал за завтраком. Я купил палочку «Тоблерона» [сорт шоколада] нам на десерт, зная, что в ресторане будет только мороженое. Потом пошел прогуляться и посмотреть на лыжников, съезжавших по *piste bleu* [синяя лыжня (франц.)], пологому склону для начинающих, однако я знал, что Анну-Луизу я там не увижу: она будет высоко, на *piste rouge* [красная лыжня (франц.)], среди деревьев. Она очень хорошая лыжница: как я уже писал, мать поставила ее на лыжи и стала учить кататься в четыре года. Дул ледяной ветер, я вернулся обратно за столик и стал довольно кстати читать «Мореплавателя» Эзры Паунда [Эзра Паунд (1885-1972) – известный американский поэт]:

Покрытый твердыми льдинами там, где ураганом налетела метель,

Я ничего не слышал, кроме сердитого моря и плеска холодной, как лед, волны.

Я открыл антологию наудачу и напал на «33 счастливых мгновения» Цзинь Шэнтаня. Мне всегда чудилось в восточной мудрости отвратительное самодовольство: «Разрезать в летний день острым ножом ярко-зеленый арбуз на большом малиновом блюде. Ах, разве это не счастье?» Ну да, конечно – если ты китайский философ, зажиточный, высокопочитаемый, живешь покойно, в мире со всеми, а главное, в полной безопасности, не то что христианский философ, который вскормлен на опасностях и сомнениях. Хотя я и не разделяю христианских верований, я предпочитаю Паскаля: «Все знают, что зрелище кошек или крыс, дробление угля и прочее может привести к умопомешательству». А кроме того, подумалось мне, не люблю я арбузов. Но мне было забавно, однако, добавить тридцать четвертое счастливое мгновение, столь же пропитанное самодовольством, как и у Цзинь Шэнтаня: «Сидеть в тепле в швейцарском кафе, глядя на белые склоны гор за стеклом, и знать, что скоро войдет та, которую любишь, с румянцем на щеках и снегом на ботинках, в теплом свитере с красной полосой. Ну разве это не счастье?»

Я снова наудачу раскрыл «Рюкзак», но *sortes Virgilianae* не всегда срабатывает, и передо мной были «Последние дни доктора Донна». Странно, зачем бы солдату носить это в своем вещмешке для утешения и бодрости? Я сделал еще одну попытку. Герберт Рид поместил в антологию отрывок из собственного сочинения под заголовком «Отступление из-под Сент-Квентина», и я до сих пор помню если не буквальные слова, то смысл того, что прочел, прежде чем бросил эту книжку навсегда: «Я подумал, что вот настала смертная минута. Но ничего не чувствовал. Я вспомнил, что однажды где-то прочел, будто люди, раненные в бою, ощущают боль не сразу, а позже». Я поднял глаза. Возле фуникулера была какая-то суматоха. Человек, который рассказывал о мальчике со сломанной лодыжкой, помогал

другому нести к подъемнику носилки. Они положили на носилки свои лыжи. Я бросил читать и из любопытства вышел. Пришлось пропустить несколько машин, прежде чем я смог пересечь дорогу, и, когда я дошел до фуникулера, спасатели уже поднялись наверх.

Я спросил кого-то из очереди, что случилось. Никто, казалось, особенно этим не интересовался. Какой-то англичанин сказал:

– Ребенок неудачно упал. Вечная история.

Женщина сказала: – По-моему, это спасателей тренируют. Сверху звонят и пытаются поймать их врасплох.

– Очень интересно наблюдать за их упражнениями, – сказал другой. – Им приходится съезжать на лыжах с носилками. Тут требуется большая сноровка.

Я вернулся в отель, чтобы согреться; из окна все было видно не хуже, но большую часть времени я следил за фуникулером, потому что с минуты на минуту ждал Анну-Луизу. Подошел угрюмый официант и спросил, не хочу ли я что-нибудь заказать; он был как счетчик на стоянке машин, показывающий, что время за мои два франка уже истекло. Я заказал еще кофе. Толпа возле фуникулера пришла в движение. Я не стал пить кофе и пошел через дорогу.

Англичанин, который при мне высказал предположение, что разбился ребенок, теперь с торжеством во всеуслышание объявил:

– Нет, это несчастный случай всерьез. Я слышал разговор в конторе. Они вызывали неотложку из Веве.

Но и тогда я, как тот солдат из-под Сент-Квентина, не почувствовал, что пуля попала в меня, – даже когда спасатели подошли по дороге из Ла-Сьерна и с большой осторожностью поставили носилки, чтобы не потревожить лежавшую там женщину. На ней был совсем не такой свитер, какой я подарил Анне-Луизе, – это был красный свитер.

– Женщина, – кто-то сказал, – бедняжка, вид у нее нехороший. – И я почувствовал такое же мгновенное инстинктивное сочувствие, как и тот, кто это сказал.

– Дело серьезное, – все так же торжествуя сообщил нам англичанин. Он ближе всех стоял к носилкам. – Много потеряла крови.

Оттуда, где я стоял, мне показалось, что она седая, но потом я сообразил, что ей забинтовали голову прежде, чем нести вниз.

– Она в сознании? – спросила женщина, и знавший все англичанин помотал головой.

Небольшая группа стала редеть и понемногу терять интерес к происшествию, когда подъемник пополз наверх. Англичанин подошел к одному из спасателей и поговорил с ним на ломаном французском.

– Они думают, что у нее поврежден череп, – передал он нам всем его слова, как телевизионный комментатор.

Теперь мне уже никто не заслонял носилки. Это была Анна-Луиза. А свитер уже не был белым из-за крови.

Я оттолкнул англичанина в сторону. Он схватил меня за руку и сказал:

– Не напирайте, милейший. Ей нужен воздух.

– Это моя жена, ты, идиот.

– Вот как? Извините. Не обижайтесь, старина.

Прошло несколько минут, хотя они мне показались часами, прежде чем приехала «скорая помощь». Я стоял всматривался в лицо Анны-Луизы, и не видел в нем признаков жизни. Я спросил: – Она умерла? – Наверное, им показалось, что я довольно равнодушен.

– Нет, – заверил меня один из них. – Просто без сознания. Ушибла голову.

– Как ото случилось?

– Насколько мы понимаем, там упал мальчик и вывихнул лодыжку. Мальчик не должен был находиться на piste rouge – ему полагалось быть на piste bleu. Она спускалась вниз, и ей трудно было его объехать. Наверное, все бы обошлось, если бы она свернула вправо, но думаю, что у нее не было времени сообразить. Она свернула влево, к деревьям – вы же знаете этот спуск, но наст – твердый, предательский, сперва подтаяло, потом подморозило, и она на всем ходу врезалась в дерево. Не волнуйтесь. «Скорая» вот-вот будет здесь. В больнице вашу жену приведут в порядок.

Я сказал: – Сейчас вернусь. Мне надо сходить расплатиться за кофе.

Англичанин сказал: – Извините меня, старина. Я не знал...

– Ради бога, мотайте отсюда, – сказал я.

Официант был еще неприветливее, чем раньше. Он мне заявил:

– Вы оставили за собой столик, чтобы обедать. Мне пришлось отказывать посетителям.

– Одного посетителя вы никогда больше не увидите, – огрызнулся я и швырнул монету в полфранка, которая упала на пол, а потом задержался у двери, чтобы посмотреть, поднимет он ее или нет. Он поднял, и мне стало стыдно. Но если бы на то была моя воля, я отомстил бы всему миру за то, что произошло, – как доктор Фишер, подумал я, совсем как доктор Фишер. Я услышал вой «скорой помощи» и вернулся к фуникулеру.

Мне дали место в машине возле ее носилок, и я бросил наш «фиат» возле отеля. Я сказал себе, что как-нибудь за ним приеду, когда Анна-Луиза поправится, и все время следил за ее лицом, ожидая, что она придет в сознание и меня узнает. Когда мы сюда вернемся, мы больше не пойдем в тот ресторан, мы пойдем в самый лучший отель этого кантона и будем есть икру, как доктор Фишер. Анна-Луиза еще не будет настолько здорова, чтобы ходить на лыжах, да к тому времени и снег, вероятно, растает. Мы посидим на солнце, и я ей расскажу, как перепугался. Я расскажу ей об этом проклятом англичанине – я крикнул ему, чтобы он мотал отсюда, и он смотался, – а она будет смеяться. Я снова посмотрел на ее лицо – оно не менялось. Если бы глаза ее не были закрыты, она бы казалась уже мертвой. Бессознательное состояние – как глубокий сон. Не просыпайся, уговаривал я ее молча, пока они не дадут тебе наркотиков, чтобы ты не чувствовала боли.

«Скорая помощь», стеновая, понеслась с горы туда, где помещалась больница, и я увидел вывеску морга, которую видел десятки раз, но теперь вдруг обозлился и на нее, и на глупость администрации, повесившей вывеску так, чтобы ее мог прочесть кто-нибудь вроде меня. Она ведь никак не относится ни ко мне, ни к Анне-Луизе, подумал я, никак не относится.

Но вывеска морга была единственным, на что я мог пожаловаться. Когда «скорая» подъехала, все действовали очень расторопно. Нашего приезда у входа ожидали два врача. Швейцарцы действительно очень расторопны. Вспомните, какие сложные часы и точные приборы они производят. Мне казалось, что Анна-Луиза будет так же мастерски починена, как

они чинят часы, – ведь эти часы подороже обычных, часы электронные, она дочь самого доктора Фишера. Они это узнали, когда я сказал, что должен ему позвонить.

– Доктору Фишеру?

– Да, отцу моей жены.

По их поведению я понял, что такие часы дают очень основательную гарантию. Анну-Луизу уже укатали в сопровождении врача постарше. Мне были видны лишь белые бинты у нее на голове, которые создали у меня впечатление седины.

Я спросил, что мне сказать ее отцу.

– Думаете, это может быть что-то серьезное?

Молодой врач осторожно сказал: – Нам приходится считать серьезными любые повреждения черепа.

– Советуете подождать со звонком до результатов рентгена?

– Думаю, что, раз доктору Фишеру надо приехать из Женевы, лучше позвонить ему сразу.

Скрытый смысл этого совета дошел до меня, только когда я набирал номер телефона. Сначала я не узнал голоса Альберта, взявшего трубку.

Я сказал: – Мне надо поговорить с доктором Фишером.

– Кто его спрашивает, сэр? – Тон был лакейский, такого я раньше не слышал.

– Скажите, что звонит мистер Джонс, его зять.

Альберт сразу принял свой обычный тон: – А, это вы, мистер Джонс? Доктор занят.

– Это не играет роли. Соедините меня с ним.

– Он сказал, чтобы его ни в коем случае не беспокоили.

– Дело срочное. Соедините нас, вам говорят.

– Я могу потерять место.

– Вы наверняка его потеряете, если нас не соедините.

Наступило долгое молчание, а потом голос послышался снова, голос наглеца Альберта, а не лакея: – Доктор Фишер говорит, что слишком занят, чтобы сейчас с вами разговаривать. Его нельзя беспокоить. Он готовит званый ужин.

– Мне надо с ним поговорить.

– Он сказал, что вам надо изложить ваше дело в письменной форме.

Прежде чем я успел ответить, он дал отбой.

Пока я разговаривал по телефону, молодой доктор куда-то скрылся. Теперь он вошел снова. Он сказал: – Боюсь, мистер Джонс, что придется прибегнуть к операции. К срочной операции. В приемном покое много амбулаторных больных, но на втором этаже есть пустая палата, где вас никто не потревожит. Как только операция будет закончена, я сразу же туда к вам приду.

Когда он отворил дверь пустой комнаты, я ее сразу узнал или, вернее, решил, что узнал: это

была палата, где лежал мсье Стайнер, однако все больничные палаты выглядят одинаково, как таблетки снотворного. Окно было открыто, и через него доносился лязг и грохот с шоссе.

– Закрывать окно? – спросил молодой врач.

Он был так заботлив, будто больным был я.

– Нет, нет, не трудитесь. Пусть будет побольше воздуха.

Но нужен мне был не воздух, а шум. Тишину можно вынести, только когда ты счастлив или спокоен.

– Если вам что-нибудь понадобится, позвоните. – Он показал мне на звонок возле кровати. На столике стоял термос с ледяной водой, и врач проверил, полон ли он. – Я скоро вернусь. Постарайтесь поменьше волноваться. У нас было много случаев потяжелее.

В палате стояло кресло для посетителей, и я на него сел, жалея, что на кровати нет мсье Стайнера и я не могу с ним поговорить. Меня устроил бы и старик, который не говорит и не слышит. Мне припомнились кое-какие слова мсье Стайнера. Он сказал о матери Анны-Луизы: «Я многие годы вглядывался в лица других женщин после того, как она умерла, а потом перестал». В этой фразе самое страшное было «многие годы». Годы, подумал я, годы... разве можно после этого жить годы? Каждые несколько минут я смотрел на часы... прошло две минуты, три минуты, а раз мне повезло: прошло целых четыре с половиной минуты. Я подумал: неужели только это я и буду делать, пока не умру?

Раздался стук в дверь, и вошел молодой врач. У него был оробелый, смущенный вид, и у меня родилась безумная надежда: они допустили ошибку и ушиб был вовсе не серьезный. Он сказал:

– Мне очень жаль. Боюсь... Потом он быстро заговорил без запинки: – Мы и сразу не очень надеялись. Она совсем не мучилась. Умерла под наркозом.

– Умерла?

– Да.

Я сумел лишь произнести:

– «Ой».

– Хотите ее видеть? – спросил он.

– Нет.

– Вызвать вам такси? Может, вы не откажетесь завтра заехать в больницу. Повидать регистратора. Придется подписать кое-какие бумаги. Всегда столько писанины...

Я сказал:

– Я хотел бы покончить со всем этим сразу. Если вам все равно.

дочери и сообщил, когда и где ее хоронят. Так как в это время года сенная лихорадка не свирепствует, на слезы его рассчитывать было нечего, но я все же полагал, что, может, он и появится. Но он не появился, и никто так и не увидел, как ее зарыли в землю, кроме английского священника, два раза в неделю убиравшей у нас прислуги и меня. Я похоронил Анну-Луизу на кладбище святого Мартина в гибралтарской земле (в Швейцарии английская церковь подчинена Гибралтарской епархии), потому что надо же было мне ее где-то похоронить. Я понятия не имел, к какой религии изволит причислять себя доктор Фишер и к какой принадлежала ее мать или в какой церкви крестили Анну-Луизу, – у нас было слишком мало времени, чтобы узнать друг о друге такие маловажные подробности. Я ведь англичанин, и мне казалось, что самое простое – это похоронить ее так, как хоронят в Англии; насколько я знал, никто еще не завел кладбищ для неверующих. Большинство швейцарцев в Женевском кантоне протестанты, и мать Анны-Луизы, вероятно, похоронена на протестантском кладбище, но швейцарские протестанты – люди всерьез верующие; англиканская церковь со всей ее двойственностью казалась мне более близкой нашему неверию. Я ожидал, что на кладбище может где-нибудь сзади деликатно появиться мсье Бельмон, как он сделал это на нашей свадьбе и потом на полуночной мессе, но, к моему облегчению, его не оказалось. Таким образом, не было никого, с кем мне пришлось бы разговаривать. Я был один, я мог один вернуться к нам в квартиру – это не то, что быть с ней вдвоем, но лучше всего другого.

Я заранее решил, что буду там делать. Много лет назад я прочел в одном детективе, как можно покончить самоубийством, выпив залпом четверть литра спирта. Насколько я помнил, один персонаж подзадорил другого выпить штрафную (писатель явно учился в Оксфорде). Я подумал, что для верности растворю в виски двадцать таблеток аспирина – все, что у меня было. Потом я удобно устроился в кресле, в котором обычно сидела Анна-Луиза, и поставил стакан рядом на стол. В душе у меня был покой, мной владело странное ощущение, похожее на счастье. Мне казалось, что я могу провести так целые часы и даже дни, просто глядя на стакан с эликсиром смерти. На дне его осели крупинки аспирина, я помешал пальцем жидкость, и они растворились. Пока здесь стоял этот стакан, мне не угрожало одиночество и даже горе. Словно это был промежуток между двумя приступами боли, и я мог длить этот промежуток, сколько захочу.

И тут зазвонил телефон. Пусть звонит, но он нарушал покой в комнате, как соседская собака. Я встал и вышел в переднюю. Подняв трубку, я для бодрости обернулся и взглянул на свой стакан – этот залог недолгого будущего. Женский голос произнес; – Мистер Джонс. Это ведь мистер Джонс?

– Да.

– Говорит миссис Монтгомери.

Значит, жабы все же меня настигли.

– Вы меня слушаете, мистер Джонс?

– Да.

– Я хотела вам сказать... мы только сейчас услышали... как мы все огорчены.

– Спасибо, – сказал я и дал отбой, но, прежде чем я успел вернуться в свое кресло, телефон зазвонил снова. Нехотя, я пошел назад.

– Слушаю, – сказал я.

Кто из них на сей раз? Но звонила снова миссис Монтгомери. Как много времени надо, чтобы проститься даже по телефону.

– Мистер Джонс, вы не дали мне договорить. У меня к вам поручение от доктора Фишера. Он хочет вас видеть.

– Он мог бы меня увидеть, если бы пришел на похороны своей дочери.

– О, тут были веские причины... Вы не должны его винить... Он вам все объяснит... Он хочет, чтобы вы завтра к нему пришли... В любое время во второй половине дня...

– А почему он не мог позвонить сам?

– Он терпеть не может телефон. Всегда пользуется услугами Альберта... или одного из нас, когда мы под рукой.

– Тогда почему бы ему мне не написать?

– Мистер Кипс сейчас в отлучке.

– Разве мистеру Кипсу приходится писать его письма?

– Деловые письма, конечно.

– У меня нет никаких дел с доктором Фишером.

– Речь идет о каком-то наследстве. Вы придете, не правда ли?

– Скажите ему... – произнес я, – скажите ему... я подумаю.

Я положил трубку. Это по крайней мере заставит его полдня ломать голову, потому что идти туда я не собирался. Все, что мне хотелось, – это снова вернуться в кресло к четверти литра неразбавленного виски; в стакане снова появился небольшой осадок аспирина, и я помешал его пальцем, но ощущение счастья ушло. Я уже не был один. Доктор Фишер, казалось, наполнял комнату, как дым. Был только один способ от него избавиться, и я, не переводя дыхания, залпом осушил стакан.

Судя по детективному роману, я ожидал, что сердце у меня остановится внезапно, как часы, но почувствовал, что все еще жив. Теперь я думаю, что аспирин был ошибкой: один яд мог парализовать действие другого. Надо было мне довериться автору детектива: говорят, что они тщательно осведомляются насчет медицинских подробностей; к тому же, насколько я припоминаю, тип, выпивший штрафную, был уже полупьян, я же был трезв как стеклышко. Вот так мы иногда можем прошляпить собственную смерть.

В ту минуту я не чувствовал даже сонливости. Голова у меня была более ясная, чем всегда, – как бывает, когда немного выпьешь, и такое, хоть и временное, состояние позволило мне сообразить причину вызова доктора Фишера: имущество, наследство... Деньги, оставленные Анне-Луизе матерью, как я вспомнил, находились под каким-то контролем, она могла получать только проценты. Я понятия не имел, к кому теперь попадет капитал, и подумал с ненавистью: «На похороны ее он не пришел, а уже думает о том, что будет с деньгами». Может быть, их получит он, эти кровавые деньги. Я вспомнил ее белый рождественский свитер, выпачканный кровью. Значит, он не менее жаден, чем все жабы. Да он и сам жаба – их жабий король. И вдруг, именно так, как я воображал свою смерть, меня одолел сон.

Когда я проснулся, я был уверен, что проспал час или два. Голова у меня была совершенно ясная, но, кинув взгляд на часы, я решил, что стрелки каким-то непонятным образом ушли назад. Я взглянул в окно, однако свинцовое снежное небо ничего мне не сказало: оно было почти такое же, как и прежде, когда я заснул. То ли утреннее небо, то ли вечернее – думайте как хотите. Я далеко не сразу понял, что проспал больше восемнадцати часов, и тут кресло, в котором я сидел, и пустой стакан вернули меня к сознанию того, что Анна-Луиза умерла. Стакан был как разряженный револьвер или нож, который без толку обломился о грудную кость. Надо будет поискать другой способ умереть.

Тут я вспомнил про телефонный звонок и беспокойство доктора Фишера о наследстве. Я был болен от горя, и, право же, больному простительны болезненные фантазии. Я хотел унижить доктора Фишера – человека, который убил мать Анны-Луизы; я хотел, чтобы он страдал, как страдаю я. Я пойду и встречу с ним, раз он об этом просит.

Я нанял у себя в гараже машину и поехал в Версуа. Я чувствовал, что голова у меня не такая ясная, как я полагал. На автостраде я чуть не врезался в заднюю часть сворачивавшего грузовика и подумал, что такая смерть ничуть не хуже, чем от виски, – но, быть может, она и вовсе обошла бы меня стороной. Меня могли вытащить из обломков машины калеккой, уже неспособным себя уничтожить. После этого я стал вести машину более внимательно, но мысли мои блуждали, их притягивало красное пятно, за которым я следил, когда она поднималась вверх на фуникулере к той *piste rouge*, тот уже совсем красный свитер на носилках и бинты, которые я принял за седину незнакомого человека. Я чуть было не проехал поворот на Версуа.

Громадный белый дом стоял над озером, как усыпальница фараона. Рядом с ним моя машина казалась карликовой, а звонок неестественно тренькал в недрах гигантской могилы. Дверь отворил Альберт. Почему-то он был в черном. Может, доктор Фишер надел траур вместо себя на своего слугу? Черный костюм явно пошел на пользу его характеру. Он даже не сделал вида, что не узнает меня. Он не стал надо мной глумиться, а поспешно пошел вверх по широкой мраморной лестнице.

Доктор Фишер не был в трауре. Он сидел за своим столом, как и при нашей первой встрече (стол был почти пуст, если не считать большой и явно дорогой рождественской хлопушки, сверкавшей киноварью и золотом), и предложил мне, как раньше: – Садитесь, Джонс.

Потом наступило долгое молчание. На этот раз он, казалось, не знал, с чего начать. Я поглядел на хлопушку, он взял ее, потом положил на место, и молчание длилось и длилось, так что в конце концов нарушил его я. Я упрекнул его: – Вы не пришли на похороны своей дочери.

Он сказал:

– Она была слишком похожа на мать. – И добавил: – Она даже лицом стала на нее похожа, когда выросла.

– Да, это говорил и мсье Стайнер.

– Стайнер?

– Стайнер.

– А-а. Этот человечек еще жив?

– Да. По крайней мере несколько недель назад был еще жив.

– Клопа трудно прикончить, – сказал он. – Они заползают обратно в щели, откуда их потом не



достанешь.

– Дочь никогда не причиняла вам зла.

– Она была похожа на мать. И характером, и лицом. И вам бы причинила такое же зло, дай ей только время. Интересно, какой бы Стайнер выполз из щели в вашей жизни. Быть может, мусорщик. Им нравится нас унижать.

– Вы позвали меня для того, чтобы это сказать?

– Не только, но и это, да. В тот раз после ужина я подумал, что кое-чем вам обязан, а я не из тех, кто любит быть должником. Вы вели себя лучше других.

– Кого – жаб?

– Жаб?

– Так ваша дочь называла ваших друзей.

– У меня нет друзей, – повторил он слова своего слуги Альберта. И добавил: – Это знакомые. А знакомых не избежать. Не думайте, что такие люди мне не нравятся. Это неверно. Не нравиться могут только равные. А их я презираю.

– Так, как я презираю вас?

– Нет, Джонс, вы меня не презираете, отнюдь. Вы неточно выражаетесь. Вы не презираете меня. Вы меня ненавидите или думаете, что ненавидите.

– Не думаю, а знаю.

На это утверждение он ответил мне улыбочкой, которая, по словам Анны-Луизы, была опасной. Это была улыбка, полная беспредельного безразличия. Это была та улыбка, которую, как я представляю себе, скульптор смело и богохульственно высекает на невыразительном, бесстрастном лице Будды.

– Значит, Джонс меня ненавидит, – сказал он. – Что ж, это делает мне честь. Меня и вас ждет Стайнер. И в каком-то смысле по одной и той же причине. В одном случае – это моя жена, в другом – моя дочь.

– Вы никогда не прощаете, верно? Даже мертвым?

– Ах, Джонс, при чем тут прощение. Это христианское понятие. Вы христианин, Джонс?

– Не знаю. Но точно знаю, что никого так не презирал, как вас.

– Вы опять выразились неточно. Семантика – важная наука, Джонс. Говорю вам: вы ненавидите, а не презираете меня. Презрение рождается из полного крушения надежд. Большинство людей не способны пережить крушение надежд, сомневаюсь, чтобы способны были на это и вы. Их надежды для этого слишком мелки. Когда ты презираешь, это похоже на глубокую, неизлечимую рану, преддверие смерти. И пока у тебя еще есть время, надо за эту рану отомстить. Когда тот, кто эту рану тебе нанес, умер, надо мстить другим. Если бы я верил в бога, я, вероятно, захотел бы отомстить ему за то, что он сделал меня способным чувствовать разочарование. Кстати – это чисто философский вопрос, – как можно отомстить богу? Христиане, наверное, скажут: заставить страдать его сына.

– Быть может, вы и правы, Фишер. Быть может, мне даже не стоит вас ненавидеть. По-моему вы сумасшедший.

– Ах нет же, нет, я не сумасшедший, – сказал он с этой невыносимой улыбочкой, полной несказанного превосходства. – Вы человек не слишком большого ума, Джонс, не то в ваши годы не переводили бы для заработка письма о шоколадках. Но иногда у меня возникает желание поговорить с человеком, даже если это и выше его понимания. На меня такое желание находит порой и когда я сижу с одним из – как их называла моя дочь? – с одной из жаб. Забавно следить за их восприятием. Никто из них не осмелится назвать меня сумасшедшим, как это сделали вы. Это ведь может лишить их приглашения на мой следующий ужин.

– И лишить тарелки каши?

– Нет, подарка, Джонс. Они не вынесут, если их лишат подарка. Миссис Монтгомери притворяется, что меня понимает. «Ох, до чего же я с вами согласна, доктор Фишер», – говорит она. Дин злится: он не переносит, когда что-нибудь недоступно его пониманию. Говорит, что даже «Король Лир» – это полная чепуха, потому что знает: он сыграть его не способен даже в кино. Бельмон внимательно слушает и сразу же меняет тему разговора. Подоходные налоги научили его увертливости. Дивизионный... Я только раз при нем сорвался, когда не мог больше вынести глупости этого старика. А он на это только хмыкнул и сказал: «Шагом марш под грохот орудий». Он, конечно, никогда не слышал орудийного залпа – разве что ружейные выстрелы на учебном полигоне. Кипс – самый лучший слушатель... Думаю, он надеется извлечь хоть зернышко здравого смысла из того, что я говорю, авось пригодится. Ах да, Кипс... он мне напомнил, зачем я вас вызвал. Наследство.

– Какое наследство?

– Вы знаете, а может, и не знаете, что моя жена оставила доходы от своего маленького капитала дочери, но только пожизненно. Потом капитал должен был отойти к ребенку, который мог у нее родиться, но, так как дочь умерла бездетной, деньги возвращаются ко мне. Чтобы показать, что она меня «прощает» – как нагло указано в завещании. Будто мне не плевать на ее прощение – прощение за что? Если я приму эти деньги, я как бы соглашусь принять и ее прощение – прощение женщины, которая изменила мне с конторщиком мистера Кипса.

– Вы уверены, что она с ним спала?

– Спала? Возможно, что она просто дремала рядом с ним под какую-нибудь мяукающую пластинку. Если вы спрашиваете, совокуплялась ли она с ним, – нет, в этом я не уверен. Возможно, но я в этом не уверен. Да я и не придал бы этому большого значения. Животный инстинкт. Я бы мог выбросить это из головы; но она предпочитала его обществу моему. Конторщика мистера Кипса с нищенским жалованьем!

– Весь вопрос в деньгах, а, доктор Фишер? Он был недостаточно богат, чтобы наставлять вам рога.

– Да, деньги, конечно, имеют значение. Есть люди, которые даже на смерть пойдут ради денег. А из-за любви не умирает никто, Джонс, разве что в романах.

Я подумал, что пытался сделать именно это, но не сумел. Однако предпринял ли я эту попытку из-за любви или из страха перед непоправимым одиночеством?

Я перестал его слушать, и мое внимание привлекли только последние его слова: – Поэтому деньги эти ваши, Джонс.

– Какие деньги?

– Наследство, конечно.

- Мне они не нужны. Мы с ней обходились тем, что я зарабатываю. Нам хватало.
- Вы меня удивляете. Я-то думал, что вы хотя бы попользовались, пока могли, небольшими деньгами ее матери.
- Нет, мы к ним не притрагивались. Оставили для ребенка, которого собирались родить. – И я добавил: – Когда кончится лыжный сезон.
- Сквозь оконное стекло я видел, как прямо и беспрестанно падают белые хлопья, словно планета перестала вращаться и, успокоившись, лежала в снежном лоне.
- Я снова пропустил мимо ушей, что он говорил, и уловил только последние фразы: – Это будет мой последний ужин. Это будет величайшее испытание.
- Вы опять устраиваете званый ужин?
- Последний, и я хочу, Джонс, чтобы вы на нем были. Как я уже сказал, я вам кое-чем обязан. Вы унизили их на ужине с овсянкой больше, чем мне пока удавалось. Вы не стали есть. Вы отказались от подарка. Вы были посторонним, и вы показали, что они такое. Как они вас ненавидели. А я получил такое удовольствие!
- Я встретил их в Сен-Морисе после ночной мессы. Они не высказали ни малейшего негодования. Бельмон даже прислал мне на рождество поздравительную открытку.
- Еще бы. Если бы они проявили свои чувства, это еще больше бы их унизило. Им надо было как-то отговориться, сделать вид, что ничего не произошло. Знаете, что Дивизионный сказал мне через неделю (придумала это миссис Монтгомери, вероятно): «Вы чересчур сурово обошлись с вашим зятем, не дали бедняге подарка. Разве он виноват, что в тот вечер у него было расстройство желудка? С каждым из нас это могло случиться. Кстати, меня самого немножко мутило, но я не хотел портить вам забаву».
- Еще раз на ужин вы меня не затащите.
- Это будет очень серьезный вечер, Джонс. Никакой жеребятины, я вам обещаю. И отличная еда. Это я вам тоже обещаю.
- У меня сейчас нет настроения чревоугодничать.
- Говорю вам, этот ужин будет последним испытанием их жадности. Вы посоветовали через миссис Монтгомери давать им чеки, вот они их и получают.
- Она мне сказала, что они ни за что не возьмут чеки.
- Посмотрим, Джонс, посмотрим. Чеки будут на очень, очень солидную сумму. Я хочу, чтобы вы присутствовали и своими глазами увидели, до чего они дойдут.
- Дойдут?
- Из жадности, Джонс. Из жадности богачей, которую вам, увы, никогда не придется испытать.
- Вы же сами богаты.
- Да, но моя жадность – я вам уже говорил – другого сорта. Я хочу... – Он поднял над головой елочную хлопушку, наподобие того, как священник на ночной мессе поднимал святые дары, будто собираясь сделать важное сообщение своему послушнику: «Это плоть моя». Он повторил: – Я хочу... – И опустил хлопушку.

– Чего вы хотите, доктор Фишер?

– Вы недостаточно умны, чтобы это понять, даже если я вам и скажу.

В ту ночь мне вторично приснился доктор Фишер. Я думал, что не усну, но, как видно, долгая, зыбкая поездка из Женевы нагнала на меня сои, и, может, пикируясь с Фишером, я сумел хоть на полчаса забыть, до чего бессмысленной стала моя жизнь. Я заснул сразу, как и вчера, у себя в кресле и увидел доктора Фишера с лицом, размалеванным, точно у клоуна, с усами, торчащими вверх, как у кайзера; он жонглировал яйцами, не роняя ни одного. Он доставал все новые и новые яйца из сгиба руки, из-за спины, из воздуха – он создавал эти яйца, и в конце по воздуху летали сотни яиц. Руки его сновали вокруг них, как птицы, потом он хлопнул в ладоши – яйца упали на землю, лопнули, и я проснулся: «Доктор Фишер приглашает Вас на Последний ужин». Он должен был состояться через неделю.

Я пошел в контору. Люди удивились, увидев меня, но" что мне еще было делать? Попытка умереть не удалась. Ни один врач не прописал бы мне в том состоянии, в каком я находился, ничего, кроме успокоительного. Хватило бы у меня мужества, я бы поднялся на верхний этаж и выбросился из окна – если бы окно там открылось, в чем я сомневаюсь, – но мужества у меня не хватило. «Несчастный случай» на машине может вовлечь посторонних и к тому же не гарантирует смертельного исхода. Револьвера у меня не было. Я думал обо всем этом, а вовсе не о письме к испанскому кондитеру, которого все еще волновало отношение басков к конфетам с ликерной начинкой. После работы я не покончил самоубийством, а пошел в первый же кинотеатр по дороге домой и просидел час на вялом порнофильме. Движения обнаженных тел не вызывали ни малейшей сексуальной эмоции – они были похожи на рисунки в доисторической пещере, непонятные письмена людей, о которых я ничего не знал. Я подумал, выходя: «Вероятно, надо поесть», зашел в кафе, заказал чай с пирожным, а потом подумал: «Зачем я ел?» Не надо было мне есть. Это ведь тоже способ умереть – голодная смерть, но я тут же вспомнил мэра Корка: он выжил после более чем пятидесятидневной голодовки. Я попросил у официанта листок бумаги и написал: «Альфред Джонс принимает приглашение доктора Фишера» – и положил листок в карман как залог того, что не передумаю. На другой день я отправил письмо почти машинально.

Почему я принял приглашение? Сам не знаю. Может быть, я принял бы любое, которое сулило бы мне возможность час или два не думать – не думать главным образом о том, как умереть без особой боли или больших неприятностей для окружающих. Можно утопиться – озеро Леман совсем недалеко: ледяная вода быстро парализует инстинктивное желание выплыть. Но у меня не хватило мужества: я с детства боялся утонуть, с тех пор как молодой секретарь посольства толкнул меня в глубокую часть piscine [бассейна (франц.)]. К тому же мой труп может отравить окуней. Газ? Но в квартире было только электричество. Оставались, конечно, выхлопные газы автомобиля; я хранил этот способ про запас, так что голодная смерть была все же наилучшим выходом – чистый, деликатный, интимный вид смерти: я ведь старше и, вероятно, менее крепок, чем мэр Корка. Я решил назначить дату, когда начну: на другой день после званого ужина у доктора Фишера.

16

По иронии судьбы я опоздал из-за несчастного случая на автостраде: частная машина врезалась в грузовик на покрытом льдом участке дороги. Там уже была полиция и машина «скорой помощи»; ацетиленовая горелка, которая так ярко пылала в темноте, что ночь потом показалась мне вдвое темнее, резала обломки, и оттуда что-то вытаскивали. Когда я подъехал, Альберт уже стоял у открытой двери. Его манеры явно стали лучше (возможно,

меня уже принимали за одну из жаб); он спустился со ступенек, чтобы меня приветствовать, отворил дверцу машины и впервые позволил себе вспомнить мое имя:

– Добрый вечер, мистер Джонс, доктор Фишер советует не снимать пальто. Ужин сервируют на лужайке.

– На лужайке? – воскликнул я.

Ночь была ясная, звезды горели как льдинки, и температура стояла ниже нуля.

– Думаю, сэр, что вам будет достаточно тепло.

Он провел меня через переднюю, где я однажды познакомился с миссис Монтгомери, а потом через другую комнату, где стены были уставлены книгами в дорогих сафьяновых переплетках – их, как видно, покупали оптом. («Библиотека, сэр...») Было бы много дешевле обзавестись фальшивыми корешками, подумал я, – у комнаты был совсем нежилой вид. Высокие окна, от потолка до пола, выходили на большую лужайку, спускавшуюся к невидимому отсюда озеру, и какое-то время я не различал ничего, кроме яркого пламени. На снегу потрескивали четыре гигантских костра, а с веток каждого дерева свисали лампочки.

– Ну, разве это не великолепно, не восхитительно, с ума сойти! – воскликнула миссис Монтгомери, выходя ко мне из темноты с уверенностью хозяйки, встречающей оробевшего гостя. – Просто сказка, волшебство. Думаю, что пальто, мистер Джонс, вам даже не понадобится. Мы все так рады, что вы снова с нами. Нам вас очень не доставало.

«Мы» и «нам»... Теперь, когда глаза больше не слепило пламя костров, я увидел, что все жабы были в сборе; они стояли вокруг стола, накрытого посреди костров; он сверкал хрусталем, в котором переливались отсветы огня. Атмосфера была совсем не такая, как на памятном ужине с овсянкой.

– Какая жалость, что это самый последний прием, – сказала миссис Монтгомери, – но вот увидите, он с нами простится по-королевски. Я сама помогала ему составить меню. Овсянки не будет!

Внезапно рядом со мной появился Альберт, держа на подносе стаканы с виски, бокалы с сухим мартини и коктейлем «Александр».

– Я предпочитаю «Александр», – сказала миссис Монтгомери. – Это сегодня у меня уже третий. Какую чепуху говорят, будто коктейли портят вкус еды. Я считаю и постоянно всем говорю, что вкус еды портит только отсутствие аппетита.

Из темноты выступил Ричард Дин, держа тисненое золотом меню. Я видел, что он уже порядком нализался, а там, за его спиной, между двумя кострами стоял мистер Кипс и, казалось, действительно смеялся – сказать это наверняка было трудно, он так сутулился, что рта не было видно, но плечи у него явно вздрагивали.

– Это лучше каши, – сказал Дин, – какая жалость, что ужин последний. Как вы думаете, старичок совсем растратился?

– Нет, нет, – живо возразила миссис Монтгомери. – Он же всегда говорил, что в один прекрасный день устроит последний, самый роскошный и самый увлекательный ужин. Мне кажется, душа ему больше не позволяет этим заниматься. После того, что случилось. Его бедная дочь...

– А у него есть душа? – спросил я.

– Ах, вы не знаете этого человека так, как знаем его мы. Его щедрость... – Автоматический

рефлекс, как у собачки Павлова, заставил ее дотронуться до изумруда, висевшего на шее.

– Допивайте и рассаживайтесь.

Голос доктора Фишера из темного угла сада призвал нас к порядку. До этого я не видел, где он находится. Он нагнулся над бочкой метрах в двадцати от нас, и я заметил, как он шевелит в ней руками, словно их моет.

– Вы только поглядите, до чего он милый, – сказала миссис Монтгомери. – Его заботит всякая мелочь.

– А что он там делает?

– Прячет хлопушки в бочке с отрубями.

– Почему бы не выложить их на стол?

– Не хочет, чтобы люди, желая узнать, что там внутри, стали стрелять ими во время ужина. Это я посоветовала ему насчет бочки с отрубями. Только подумайте, он никогда о такой вещи не слышал. Видно, у него было не очень счастливое детство, правда? Но он сразу зажегся этой идеей. Понимаете, он положил подарки в хлопушки, а хлопушки в отруби, и нам надо будет тащить их на счастье с зажмуренными глазами.

– А что, если вам достанется золотой ножик для обрезания сигар?

– Невозможно. Подарки выбраны так, чтобы подошли любому.

– А что такого есть в мире, что подойдет любому?

– Вот увидите. Он нам скажет. Не сомневайтесь. В глубине души он ведь человек очень чуткий.

Мы сели за стол. На этот раз я был посажен между миссис Монтгомери и Ричардом Дином, а напротив были Бельмон и мистер Кипс. Дивизионный сидел напротив хозяина. Набор бокалов был внушительный, а меню сообщало, что будут поданы «Мерсо» 1971 года, «Мутон-Ротшильд» 1969-го, а вот года закладки портвейна «Кокберн» я не запомнил. Тут, подумалось мне, я смогу по крайней мере упиться и забыть обо всем без помощи аспирина. Бутылка финской водки, поданная к икре (на этот раз икрой оделили нас всех), была заморожена в цельной глыбе льда вместе с лепестками оранжерейных цветов. Я снял пальто и повесил его на спинку стула, чтобы предохранить себя от жара костра, горевшего сзади. Два садовника ходили взад и вперед, как часовые, подбрасывая в огонь поленья, но шаги их не были слышны на глубоком снежном ковре. Зрелище было до странности нереальным – столько жара и столько снега, хотя снег под нашими стульями уже начал таять от тепла, которое шло от костров. Я подумал, что скоро ноги наши будут мокнуть в талой воде.

Икрой в большой вазе обнесли нас дважды, и все, кроме меня и доктора Фишера, положили ее себе по второму разу.

– Она так полезна, – объяснила миссис Монтгомери. – В ней столько витамина С.

– Могу пить финскую водку с чистой совестью, – сказал нам Бельмон, позволяя налить себе третью рюмку.

– Они провели настоящую кампанию зимой тридцать девятого, – заметил Дивизионный. – Если бы французы поступили так в сороковом...

Ричард Дин спросил меня: – Вам довелось видеть меня в «Пляжах Дюнкерка»?

– Нет. Я в Дюнkerке не был.

– Я говорю о фильме.

– Нет. Боюсь, что не довелось. А что?

– Да просто так. По-моему, это мой самый лучший фильм.

К «Мутон-Ротшильду» было подано *roti de boeuf* [жаркое из говядины (франц.)]. Мясо зажарили в тонком слое теста, что сохранило все его соки. Прекрасное блюдо, что и говорить, но на минуту мне стало дурно от вида крови: я снова стоял у подножия фуникулера.

– Альберт, – сказал доктор Фишер, – нарежьте мистеру Джонсу мясо. У него покалечена рука.

– Бедненький мистер Джонс, – сказала миссис Монтгомери. – Давайте я вам нарежу. Вы любите мясо маленькими кусочками?

– Сострадание, вечно сострадание, – сказал доктор Фишер. – Вам надо бы написать Библию заново. «Пожалей ближнего своего, как ты жалеешь себя». У женщин чересчур развито чувство сострадания. Моя дочь унаследовала это от матери. Может, она и замуж вышла за вас, Джонс, из жалости. Уверен, что миссис Монтгомери выйдет за вас, если вы ей предложите. Но жалость – чувство нестойкое, оно быстро проходит, когда объект не маячит перед глазами.

– А какое чувство стойкое? – спросил Дин.

– Любовь, – поспешно ответила миссис Монтгомери.

– Я никогда не мог спать с какой-нибудь женщиной больше трех месяцев кряду, – сказал Дин.

– Это превращается в поденщину.

– Тогда это не настоящая любовь.

– А вы долго были замужем, миссис Монтгомери?

– Двадцать лет.

– Я вам должен пояснить. Дин, – сказал доктор Фишер, – что мистер Монтгомери был очень богат. Большой счет в банке помогает любви длиться дольше. Но почему вы не едите, Джонс? Мясо недостаточно нежное или миссис Монтгомери слишком крупно его нарезала?

– Мясо превосходное, но у меня нет аппетита. – Я налил себе еще бокал «Мутон-Ротшильда»; я пил вино не из-за букета – небо мое потеряло всякую чувствительность, – а из-за того, что оно сулило забытьё.

– При обычных обстоятельствах вы бы не получили подарка, потому что не едите, – сказал доктор Фишер, – но за этим нашим последним ужином никто не лишится подарка, если сам этого не пожелает.

– Да разве кто-нибудь откажется от

вашего подарка, доктор Фишер? – спросила миссис Монтгомери.

– Вот через несколько минут это и будет мне интересно выяснить.

– Вы же Знаете, щедрый вы человек, что этого никогда быть не может!

– Никогда – сильное слово. Я не уверен, что сегодня... Альберт, вы забываете разливать вино. Смотрите, у мистера Дина бокал почти пустой, да и у мсье Бельмона тоже.

Лишь когда мы приступили к портвейну (поданному, по английскому обычаю, в конце трапезы – к сыру), он объявил, что он имел в виду, когда не кончил фразы. Как всегда, завела разговор миссис Монтгомери.

– У меня руки так и чешутся, – сказала она, – добраться до этого пирога из отрубей.

– Там одни хлопушки, – сказал доктор Фишер. – Мистер Кипс, вы только не вздумайте заснуть, пока не вытащите вашу хлопушку. Дин, не задерживайте у себя портвейн. Нет. Не туда. Где вы воспитывались? По часовой стрелке.

– Одни хлопушки? – сказала миссис Монтгомери. – Ах вы глупенький. Будто мы не знаем. Важно то, что спрятано в хлопушке.

– Шесть хлопушек, – сказал доктор Фишер, – и в пяти из них одинаковые бумажки.

– Бумажки? – воскликнул Бельмон, а мистер Кипс попытался повернуть голову к доктору Фишеру.

– Изречения, – объяснила миссис Монтгомери. – Во все хорошие хлопушки кладут изречения.

– Да, но что еще? – спросил Бельмон.

– Там нет никаких изречений, – сказал доктор Фишер. – На этих бумажках напечатано название и адрес: «Швейцарский кредитный банк, Берн».

– Неужели чеки? – спросил мистер Кипс.

– Чеки, мистер Кипс, и выписаны на одну и ту же сумму, чтобы никому не было завидно.

– Мне не очень-то нравится, когда друзья дарят друг другу чеки, – сказал Бельмон. – Я знаю, доктор Фишер, вы делаете это от доброго сердца, и мы все были вам очень благодарны за те маленькие подарки, которыми вы оделяли нас в конце ужина, но чеки... это... как бы сказать... не слишком уважительно, не говоря уже о связанных с ними налогах!

– Я вам всем даю выходное пособие – вот в чем дело.

– Но, черт возьми, мы у вас не служим! – сказал Ричард Дин.

– Вы в этом уверены? Разве все вы не играли свои роли для моего развлечения и своей прибыли? К примеру, вы, Дин, охотно выполняли мои приказания. Я был одним из режиссеров, снабжающих вас талантом, которого сами вы лишены.

– Я могу и не взять ваш проклятый чек!

– Можете, Дин, но возьмете. Да вы даже согласитесь сыграть в «Питере Пене» мистера Дарлинга и посидеть в собачьей будке, если чек будет достаточно крупным.

– Мы прекрасно поужинали, – сказал Бельмон, – и всегда будем вспоминать об этом с благодарностью. Не надо так нервничать. Я могу понять точку зрения Дина, но думаю, что он сгущает краски.

– Вы, конечно, если хотите, можете отказаться от моих маленьких прощальных подарков. Я скажу Альберту, чтобы он убрал бочку с отрубями. Альберт, вы слышали? Отнесите бочку на кухню – нет, погодите минутку. Прежде чем решать, вам, по-моему, надо знать, что написано



на этих бумажках: два миллиона франков на каждой.

– Два миллиона! – воскликнул Бельмон.

– Имя получателя не чеках не проставлено. Вы вправе написать любое. Быть может, мистеру Кипсу захочется пожертвовать этот чек на медицинские исследования по выпрямлению спинного хребта. Миссис Монтомгери может даже захотеть купить себе любовника. Дин вложит деньги в съемку фильма. А то ему, по-моему, грозит что-то вроде некредитоспособности.

– Все это как-то не совсем прилично, – сказала миссис Монтомгери. – Можно подумать, что вы считаете нас, своих друзей, корыстолюбивыми.

– А разве ваш изумруд не доказательство тому?

– Драгоценности, полученные от мужчины, которого любишь, – совсем другое дело. Вы и не представляете себе, доктор Фишер, как мы вас любим. Платонической любовью, правда, но разве она не такая же настоящая, как... ну эта... сами знаете какая.

– Я, конечно, знаю, что никто из вас не нуждается в двух миллионах франков, чтобы истратить их на себя. Вы все достаточно богаты, чтобы эти деньги отдать, хоть я и сомневаюсь, что кто-нибудь из вас это сделает.

– То, что наши имена не значатся на чеках, несколько меняет дело, – сказал Бельмон.

– С налоговой точки зрения, – согласился доктор Фишер. – Я был уверен, что так будет удобнее. Но вы лучше разбираетесь в таких делах, чем я.

– Я думал не об этом. Я думал о человеческом достоинстве.

– Ну да, понятно, вы хотите сказать, что чек в два миллиона франков менее оскорбителен, чем чек в две тысячи.

– Я бы выразил это несколько иначе, – сказал Бельмон.

Впервые за этот вечер заговорил Дивизионный. Он сказал:

– Я не финансист, как мистер Кипс или мсье Бельмон. Я простой солдат и не вижу разницы между тем, берешь ли ты икру или берешь чек.

– Bravo, генерал, – сказала миссис Монтомгери. – Я как раз это хотела сказать.

Мистер Кипс пояснил: – Я ведь не возражал. Только задал вопрос.

– Я тоже, – сказал Бельмон. – Раз на чеках нет наших имен... Я просто хотел внести ясность для всех нас – особенно для мистера Дина: он ведь англичанин. Это мой долг как его консультанта по налоговым вопросам.

– И вы советуете мне взять? – спросил Дни.

– При таких условиях – да.

– Альберт, оставьте бочку с отрубями на месте, – сказал доктор Фишер.

– Но кое-что еще неясно, – сказал мистер Кипс. – Вы заявили, что там шесть хлопушек и пять бумажек. Это потому, что мистер Джонс не участвует?

– Мистер Джонс будет иметь те же возможности, что и все вы. Каждый по очереди подойдет к

бочонку с отрубями и будет там искать свою хлопушку, вы ее дернете, стоя возле бочонка, а потом вернетесь к столу. Точнее говоря, если вы вообще вернетесь.

– То есть что значит – если? – спросил Дин.

– Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, советую выпить еще по рюмочке портвейна. Нет, пожалуйста, не туда. Дин. Я вам уже говорил: не против часовой стрелки.

– Вы хотите, чтобы мы совсем захмелели, – сказала миссис Монтгомери.

Дин заметил:

– Вы не ответили на вопрос мистера Кипса. Почему только пять бумажек?

– Я пью за здоровье вас всех, – сказал доктор Фишер, поднимая рюмку. – Если вы даже откажетесь вытягивать хлопушку, вы все равно заслужили ужин, потому что помогаете мне провести последнее исследование.

– Исследование чего?

– Жадности богачей.

– Не понимаю.

– Ах, этот милый доктор Фишер! Так любит пошутить, – сказала миссис Монтгомери. – Допивайте, мистер Дин.

Все выпили. Я заметил, что они порядком опьянели; я один, сколько бы ни пил, был безнадежно обречен на тоскливую трезвость. Я себе ничего не налил. Решил больше не пить, пока не останусь дома один и не смогу упиться, если захочу, до смерти.

– Джонс не выпил за наше здоровье. Пусть. Сегодня все правила побоку. Я уже давно хочу испытать предел вашей жадности. Вы подвергались большому унижению и терпели их ради награды, которая за этим следовала. Наш ужин с овсянкой был предпоследней пробой. Ваша жадность оказалась сильнее любого унижения, которое я мог для вас изобрести.

– Да какое же это было унижение, милый? Вы просто тешили свое необыкновенное чувство юмора. И мы получали такое же удовольствие, как и вы.

– А теперь я хочу знать, способны ли вы из жадности преодолеть даже страх, и вот я устроил то, что можно назвать ужином с бомбой.

– Это еще что за чертовщина – ужин с бомбой? – Вино сделало Дина агрессивным.

– В шестую хлопушку помещен небольшой заряд – вероятно, смертельный, – который взорвется, когда один из вас дернет за язычок. Вот почему бочка с отрубями поставлена на значительном расстоянии от нашего стола и почему хлопушки глубоко закопаны, а бочка закрыта крышкой, чтобы туда случайно не попали искры от одного из костров. Надо добавить, что бесполезно и, вероятно, даже опасно мять и прощупывать хлопушки. Во всех одинаковые металлические футляры, но только в одном из футляров то, что я называю бомбой. В остальных – чеки.

– Он шутит, – сообщила нам миссис Монтгомери.

– Может, и шучу. Вы это выясните в конце ужина. Разве игра не стоит свеч? Смерть не наверняка вам грозит, даже если ваш выбор падет на опасную хлопушку, и я даю вам честное слово, что чеки во всех случаях там лежат. На два миллиона франков.

– Но, послушайте, если кто-нибудь умрет, – сказал Бельмон, часто моргая, – это же будет убийство.

– Но почему же убийство? Вы все тут будете свидетелями. Нечто вроде русской рулетки. Даже не самоубийство. Мистер Кипс, я уверен, со мной согласится. Тот, кто не желает играть, пусть сейчас же выйдет из-за стола.

– Я-то уж безусловно не буду играть, – сказал мистер Кипс. Он огляделся вокруг в поисках поддержки, но ее не нашел. – И отказываюсь быть свидетелем. Будет большой скандал, доктор Фишер. Это самое меньшее, что вам грозит.

Он встал из-за стола, и когда его горбатая фигура зашагала между кострами к дому, она мне снова напомнила маленькую черную семерку. Странно было, что такой калека первый отказался от смертельного риска.

– Ваши шансы – пять к одному, – сказал ему доктор Фишер, когда он проходил мимо.

– Я никогда не играл на деньги, – сказал мистер Кипс. – Считаю это в высшей степени безнравственным.

Как ни странно, слова его, казалось, разрядили атмосферу. Дивизионный сказал: – Не вижу ничего безнравственного в азартных играх. Я лично провел в Монте-Карло много приятных недель. И как-то раз трижды подряд выиграл на девятнадцать.

– Я иногда ездил на ту сторону озера в казино Эвиана, – сказал Бельмон. – Никогда много не ставил. Но в этих делах я вовсе не пуританин.

Казалось, они совсем забыли о бомбе. Вероятно, только мы с мистером Кипсом верили, что доктор Фишер сказал правду.

– Мистер Кипс отнесся к вашим словам слишком серьезно, – сказала миссис Монтгомери. – У него нет чувства юмора.

– А что будет с чеком мистера Кипса, – спросил Бельмон, – если его хлопушка так и останется там?

– Я разделю его на всех вас. Если только там нет бомбы. Вы вряд ли захотите, чтобы я ее делил.

– Еще по четыреста тысяч франков на каждого, – быстро подсчитал мсье Бельмон.

– Нет. Больше. Один из вас ведь вряд ли выживет.

– Выживет! – воскликнул Дин. Как видно, он был слишком пьян, чтобы взять в толк историю со смертельной хлопушкой.

– Конечно, – сказал доктор Фишер, – все может кончиться и счастливо. Если шестая хлопушка как раз и будет содержать бомбу.

– Вы что это – серьезно говорите, что в одной из ваших чертовых хлопушек есть бомба?

– Два миллиона пятьсот тысяч франков, – пробормотала миссис Монтгомери; она явно исправила цифру, названную Бельмоном, и уже в мечтах видела то, что доктор Фишер считал счастливым концом.

– Вы, Дин, я уверен, не откажетесь от этой маленькой игры. Я помню, как в «Пляжах Дюнкерка» вы отважно вызвались пойти чуть ли не на самоубийство. Вы были великолепны –

во всяком случае, режиссер это великолепно поставил. И вам чуть было не присудили «Оскара», не правда ли? «Я пойду, сэр, если я могу пойти один». Это была замечательная реплика, я ее навсегда запомнил. Кто ее написал?

– Я написал ее сам. Не сценарист и не режиссер. Она пришла мне в голову вдруг, на съемке.

– Поздравляю, мой мальчик. Ну а теперь вот вам прекрасный случай пойти одному к бочке с отрубями.

Я никак не ожидал, что Дин пойдет. Он поднялся, допил свой портвейн, и я решил, что он последует за мистером Кипсом. Но, может быть, спяну ему действительно показалось, что он снова на съемочной площадке, в воображаемом Дюнкерке. Он дотронулся до головы, словно поправляя несуществующий берет, однако, пока он вживался в старую роль, миссис Монтгомери не зевала. Она вышла из-за стола и с криком: «Дам пропускают вперед!» – побежала к бочке с отрубями, рывком скинула крышку и окунула руку в отруби. Наверное, она вычислила, что сейчас у нее наилучшие шансы для счастливого исхода.

Мысли Бельмона, как видно, шли в том же направлении, потому что он запротестовал: – Надо было кинуть жребий, чья очередь.

Миссис Монтгомери нашла хлопушку и дернула за язычок. Послышался легкий треск, и небольшой металлический цилиндр выпал на снег. Вытащив оттуда свернутую трубочкой бумажку, она взвизгнула.

– Что случилось? – спросил доктор Фишер.

– Ничего не случилось, мой дружок. Все просто роскошно! Швейцарский кредитный банк, Берн. Два миллиона франков. – Она кинулась назад, к столу. – Дайте мне кто-нибудь ручку. Я хочу вписать мое имя. Он может потеряться.

– Я бы вам советовал не вписывать ваше имя, пока мы хорошенько все не обсудим, – сказал Бельмон, но она осталась глуха к его словам.

Ричард Дин стоял вытянувшись, как по стойке «смирно». Я ждал, что он вот-вот отдаст своему полковнику честь. Мысленно он, видимо, выслушивал приказ, поэтому Бельмон получил возможность раньше его подбежать к бочке с отрубями. Он помешкал, прежде чем вытащить свою хлопушку – тот же металлический цилиндр, та же бумажка; он самодовольно улыбнулся и подмигнул. Он рассчитал все «за» и «против» – и оказался прав, пойдя на риск. Это был человек, знавший, что такое деньги.

Дин произнес: – Я пойду, сэр, если я могу пойти один.

И все же не двигался с места. Может быть, режиссер в эту минуту распорядился: «Стоп!»

– Ну а вы, Джонс? – спросил доктор Фишер. – Шансы все уменьшаются.

– Я предпочитаю понаблюдать за вашим чертовым экспериментом до конца. Жадность побеждает, а?

– Если вы наблюдаете, вам придется рано или поздно принять участие в игре или же удалиться, как мистеру Кипсу.

– Что ж, я буду играть, обещаю. Я сделаю ставку на последнюю хлопушку. Это повысит шансы Дивизионного.

– Вы скучный, глупый тип, – сказал доктор Фишер. – Какая доблесть идти на смерть, если вы хотите умереть. Но, господа помилуй, что там вытворяет Дин?

– По-моему, импровизирует.

Дин по-прежнему стоял у стола и наливал себе еще рюмку портвейна, однако на этот раз никто не воспользовался задержкой, потому что оставались только Дивизионный и я.

– Спасибо, сэр, – сказал Дин. – Спасибо за добрые слова. Ведь и пьяная отвага – вещь невредная... Да, знаю, в данном случае это совсем не обязательно, капитан... Может, это и лишнее, зато блеска больше... Спасибо, сэр. Если вернетесь невредимым, разопьем еще бутылочку... «Кокберна» – вот как эта, надеюсь, сэр.

Я подумал, не будет ли он плести эту чепуху до рассвета, но, произнеся последнюю фразу, он поставил рюмку, лихо отдал честь и зашагал к бочке с отрубями, пошарил в ней, вытащил хлопушку, дернул и повалился на землю рядом с цилиндром и чеком. – Мертвецки пьян, – сказал доктор Фишер и распорядился, чтобы садовники унесли его в дом.

Дивизионный глядел на меня с другого конца стола. Он спросил: – Почему вы не ушли, мистер Джонс?

– Мне все равно нечего делать, генерал.

– Не зовите меня генералом. Я не генерал. Я командир дивизии.

– А вы почему остались, командир дивизии?

– Поздно идти на попятный. Смелости не хватает. Мне следовало первым подойти к бочке, когда шансы были лучше. Что там говорил этот Дин?

– По-моему, он играл молодого капитана, который вызвался сделать отчаянную вылазку.

– Я командир дивизии, а дивизионные не совершают отчаянных вылазок. К тому же в Швейцарии таких вылазок не бывает. Разве что эта – исключение из правил. Может, вы пойдете первым, мистер Джонс?

– А что вы думаете о конвертируемых облигациях? – услышал я голос миссис Монтгомери, которая спрашивала Бельмона.

– У вас их и так слишком много, – сказал Бельмон, – а доллар, по-моему, не скоро опять войдет в силу.

– Предлагаю вам подойти первому, командир. Мне деньги не нужны, а шансы у вас все-таки будут получше. У меня другие цели...

– Когда я был мальчишкой, – сказал Дивизионный, – я играл в русскую рулетку с игрушечным пистолетом, заряженным пистонами. Это было так увлекательно. – Но он не двигался с места.

Я слышал, как Бельмон говорит миссис Монтгомери:

– Я-то подумываю вложить деньги во что-нибудь немецкое. Например, «Баденверк» в Карлсруэ платит акционерам восемь и пять восьмых процента – правда, русская опасность всегда налицо, не так ли? Будущее ведь довольно непредсказуемо.

Так как Дивизионный явно не желал двигаться, то пошел я. Мне хотелось, чтобы этот ужин кончился поскорее.

Пришлось долго разгребать отруби, прежде чем я нащупал хлопушку. Но я не чувствовал приятного возбуждения, как мальчик, стрелявший пистонами, – я спокойно взял в руку

хлопушку, сознавая, что стал ближе к Анне-Луизе, чем когда-либо с тех пор, как дожидался в больничной палате и молодой доктор пришел сказать, что она умерла. Я держал хлопушку, словно держал ее руку, и слушал разговор, который шел за столом.

Бельмон говорил миссис Монтгомери: – У меня больше доверия к японца. «Мицубиси» платит только шесть и три четверти, но двумя миллионами зря рисковать не стоит.

Я увидел, что рядом со мной стоит Дивизионный.

– По-моему, нам пора расходиться, – сказала миссис Монтгомери. – Боюсь, тут что-то произойдет, хотя в глубине души я уверена, что доктор Фишер просто над нами слегка подшутил.

– Если вы отошлете вашу машину с шофером, я вас подвезу, и мы по дороге обсудим, куда вам вложить деньги.

– Но разве вы не дождетесь, пока кончится ужин? – спросил доктор Фишер. – Теперь уже недолго осталось.

– Ах, это был такой замечательный последний ужин, но мне, бедняжке, пора бай-бай. – Она замахала нам ручками. – Спокойной ночи, генерал. Спокойной ночи, мистер Джонс. А где же мистер Дин?

– Подозреваю, что в кухне, на полу. Надеюсь, Альберт не возьмет у него чек. Он тогда уйдет от меня, и я потеряю хорошего слугу.

Дивизионный мне шепнул: – Конечно, мы можем просто взять и уйти, верно? Если вы пойдете со мной. Я не хочу уходить один.

– Мне-то лично идти некуда.

Хотя мы и шептались, доктор Фишер услышал.

– Дивизионный, вы с самого начала знали правила игры. Могли уйти с мистером Кипсом, прежде чем она началась. А теперь, когда шансов осталось маловато, вы перепугались. Подумайте о вашей солдатской чести и о награде. В бочке все еще лежит два миллиона франков.

Но Дивизионный не шевельнулся. Он продолжал смотреть на меня с мольбой. Когда человек боится, он нуждается в поддержке. Доктор Фишер безжалостно продолжал: – Если поторопитесь, шансы будут два к одному в вашу пользу.

Дивизионный закрыл глаза, опустил в бочку руку и сразу же нащупал свою хлопушку, но все так же нерешительно продолжал стоять.

– Если боитесь дернуть, идите к столу, Дивизионный, дайте мистеру Джонсу испытать судьбу.

Дивизионный поглядел на меня грустным взглядом спаниеля, который пытается внушить хозяину, чтобы тот произнес магическое слово: «Гуляй!» Я сказал:

– Я первый вытащил хлопушку. По-моему, вы должны разрешить мне первому и дернуть.

– Конечно, конечно, – сказал он. – Это ваше право.

Я смотрел на него, пока он не дошел до безопасного места возле стола, неся свою хлопушку. Без левой руки мне не так-то легко было дернуть язычок. Замешкавшись, я увидел, что

Дивизионный следит за мной – следит, как мне казалось, с надеждой. Может быть, он молился – в конце концов, я же видел его на ночной мессе, вероятно, он верующий, вероятно, он говорил богу: «Прошу тебя, добрый боженька, взорви его!» Я бы, наверно, молился почти о том же: «Пусть это будет конец», если бы верил, но разве у меня не было хотя бы полуверы, иначе почему же, пока я держал эту хлопушку в руке, я чувствовал близость Анны-Луизы? Анна-Луиза была мертва. Она могла еще где-то существовать, если существует бог. Я взял торчавший язычок и потянул за другой край хлопушки. Послышался слабый щелчок, и я почувствовал, как Анна-Луиза выдернула у меня свою руку и пошла между кострами к озеру, чтобы умереть во второй раз.

– Ну вот, Дивизионный, – сказал доктор Фишер, – шансы теперь равные.

Я никогда еще не испытывал такой ненависти к Фишеру, как в эту минуту. Он дразнил нас обоих. Он издевался над моим разочарованием и издевался над страхом Дивизионного.

– Наконец-то вы стоите под огнем противника, Дивизионный. Разве не об этом вы мечтали все долгие годы нашего швейцарского нейтралитета?

Глядя на мертвую, бесполезную хлопушку у себя в руке, я услышал печальный голос командира дивизии:

– Я тогда был молодым. А теперь я стар.

– Но там же два миллиона франков. Я знаю вас давно и знаю, как вы цените деньги. Вы женились на деньгах – вот уж нельзя сказать, чтобы вы прельстились красотой, но, даже когда ваша жена умерла и оставила вам все, что у нее было, вам этого показалось мало, не то вы не стали бы приходить на мои званые ужины. Вот ваш шанс. Два миллиона франков, которые вы можете выиграть. Два миллиона франков за небольшое проявление храбрости. Военной отваги. Под огнем противника, Дивизионный.

Я посмотрел на стол в другом конце лужайки и увидел, что старик вот-вот заплачет. Я сунул руку в бочонок с отрубями и вытащил последнюю хлопушку – хлопушку, предназначенную для Кипса. Я снова потянул за язычок зубами, и снова раздался легкий щелчок – не громче, чем чирканье спички.

– Ну какой же вы дурак, Джонс, – сказал доктор Фишер. – Чего торопитесь? Весь вечер раздражали меня одним вашим присутствием. Да, вы не такой, как другие. Не вписываетесь в общую картину. И никому вы не помогали. Ничего не смогли доказать. Деньги вас не прельщают. Вы жадно хотите смерти. А такая жадность меня не интересует.

Дивизионный сказал: – Но ведь осталась только одна – моя хлопушка.

– Да, Дивизионный, верно, теперь ваш черед. Не отвертитесь. Придется играть до конца. Встаньте. Отойдите на безопасное расстояние. Я не Джонс и не хочу умирать.

Но старик не двинулся с места.

– Я не могу вас расстрелять за трусость, проявленную перед лицом врага, но обещаю, что эту историю узнает вся Женева.

Я взял два чека из двух цилиндров и подошел с ними к столу. Один чек я швырнул Фишеру.

– Вот доля мистера Кипса, можете разделить ее между остальными.

– А другой оставляете себе?

– Да.

Он улыбнулся мне своей опасной улыбочкой.

– А знаете, Джонс, у меня есть надежда, что в конце концов и вы не испортите общей картины. Садитесь и выпейте еще рюмочку, пока Дивизионный соберется с духом. Вы теперь человек вполне зажиточный. Относительно. С вашей точки зрения. Заберите завтра деньги из банка, припрячьте их хорошенько, и я уверен, что скоро и у вас появятся те же чувства, что и у остальных. Я могу даже снова устраивать свои ужины, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как развивается у вас жадность. Миссис Монтгомери, Бельмон, Кипс и Дин – все они, в общем, были такими же и тогда, когда я с ними познакомился. Но вас я таким создал. Совсем как бог создал Адама. Дивизионный, время ваше истекло. Не заставляйте нас больше ждать. Ужин окончен, костры догорают, становится холодно, и Альберту пора убирать со стола.

Дивизионный сидел молча; его старая голова была опущена над лежавшей на столе хлопушкой. Я подумал: «Он действительно плачет (я не видел его глаз) – плачет над утраченной мечтой о героизме, которая, наверно, тешит по ночам каждого молодого солдата».

– Будьте же мужчиной, Дивизионный.

– Как вы, должно быть, себя презираете, – сказал я доктору Фишеру. Не знаю, что заставило меня произнести эти слова. Их будто кто-то нашептал мне на ухо, и я их только передал дальше. Я пододвинул чек к командиру дивизии и сказал: – Я куплю вашу хлопушку за два миллиона франков. Отдайте ее мне.

– Нет. Нет. – Он произнес это еле слышно, но не воспротивился, когда я взял хлопушку из его пальцев.

– Что это значит, Джонс?

Я не дал себе труда ответить – у меня было дело поважнее, – да к тому же я и не знал ответа. Ответа мне не дал тот, кто только что шепнул мне на ухо.

– Стойте, черт вас возьми! Скажите же, ради Христа, что вы затеяли?

Я был слишком счастлив, чтобы отвечать, потому что в руках у меня была хлопушка Дивизионного, и я пустился вниз по лужайке к озеру – туда, куда, как мне представлялось, ушла Анна-Луиза. Когда я проходил мимо Дивизионного, он закрыл лицо руками; садовники ушли, и костры догорали.

– Вернитесь, – крикнул мне вслед доктор Фишер, – вернитесь, Джонс! Я хочу с вами поговорить.

Я подумал: «Когда дело доходит до дела, он тоже боится. Наверное, хочет избежать скандала». Но я ему в этом не помощник. Тут смерть – она принадлежит мне, это мое дитя, мое единственное дитя, мое и Анны-Луизы. Никакой несчастный случай на лыжне не может отнять у нас ребенка, которого я держал в руке. Я уже больше не одинок, это они одиноки – Дивизионный и доктор Фишер; они сидят по краям длинного стола и ждут грохота, который возвестит о моей кончине.

Я подошел к самой кромке озера, где склон лужайки должен был скрыть меня от них обоих, и в третий раз, но теперь уже с полной уверенностью в исходе, зажал язычок в зубах и дернул хлопушку правой рукой.

Дурацкий, немощный щелчок и последовавшая за ним тишина показали, что я кругом был обманут. Доктор Фишер украл у меня смерть и унизил Дивизионного; он доказал, что его богатые друзья действительно одержимы жадностью, а теперь сидит за столом и смеется над



нами обоими. Да, этот последний ужин кончился для него удачно.

На таком расстоянии я не мог слышать его смеха. А услышал я скрип шагов, приближавшихся по берегу. Человек, увидев меня, внезапно остановился – все, что я мог различить, был черный костюм на фоне белого снега. Я спросил:

– Кто вы?

– Ах, да это мистер Джонс, – произнес чей-то голос. – Конечно же, это мистер Джонс.

– Да.

– Вы не помните меня? Я Стайнер.

– Как вы сюда попали?

– Больше не мог вынести.

– Вынести чего?

– Того, что он с ней сделал.

В ту минуту мои мысли были поглощены Анной-Луизой, и я не понял, о чем он говорит. Потом я сказал:

– Теперь вы уже ничего не можете поделать.

– Я слышал про вашу жену, – сказал он. – Мне очень жаль. Она была так похожа на Анну. Когда я узнал, что она умерла, это было совсем как если бы Анна умерла снова. Вы уж меня простите. Я так нескладно выражаюсь.

– Нет. Я понимаю, что вы почувствовали.

– А где он?

– Если вы говорите о докторе Фишере, то он сыграл свою лучшую и последнюю шутку и, как я себе представляю, хихикает там наверху.

– Я должен его увидеть.

– Зачем?

– Когда я лежал в больнице, у меня было время подумать. Лицо вашей жены заставило меня задуматься. Когда я увидел ее там, в магазине, будто ожила Анна. Я слишком многое принимал как должное... у него ведь была такая сила... он изобрел пасту «Букет Зуболюба»... он был всемогущ, почти как бог... мог лишить меня работы... мог даже отнять Моцарта. Когда она умерла, я больше не хотел слушать Моцарта. Поймите, прошу вас, ради нее. Мы никогда не были по-настоящему любовниками, но он и невинность умел превратить в грязь. А теперь я хочу подойти к нему очень близко и плюнуть в лицо этому всемогущему богу.

– Поздновато для этого, не правда ли?

– Плюнуть во всемогущего никогда не поздно. Он пребывает во веки веков, аминь. И он сотворил нас такими, какие мы есть.

– Он, возможно, и да, а вот доктор Фишер – нет.

– Он сделал меня таким, каким я стал.

– Что ж, – сказал я; мне мешал этот человек, нарушивший мое одиночество, – ступайте туда и плюйте. Много это вам даст.

Он посмотрел вверх, туда, где простиралась лужайка, которая теперь едва была видна в гаснувшем свете костров, но оказалось, что мсье Стайнеру не придется шагать вверх по склону в поисках доктора Фишера, потому что доктор Фишер шагал вниз, к нам, шагал медленно, с трудом, следя за тем, куда ступает, – ноги его то и дело скользили по ледяной тропке.

– Вот он идет, – сказал я, – поэтому запаситесь слюной для плевка.

Мы стояли, ожидая его, и, казалось, время тянулось бесконечно, пока он к нам подошел. Он остановился в нескольких шагах от нас и сказал мне:

– Я не знал, что вы тут. Думал, вы уже ушли. Они все ушли. И Дивизионный ушел.

– Взяв свой чек?

– Конечно. Взяв свой чек. – Он стал вглядываться сквозь темноту в моего собеседника. – Вы не один? Кто этот человек?

– Его фамилия Стайнер.

– Стайнер? – Я никогда еще не видел доктора Фишера в растерянности. Словно он оставил половину своего рассудка там, за столом. Он, казалось, ждал, чтобы я помог ему, но я этого не сделал. – Кто он, этот Стайнер? Что он тут делает? – У него был такой вид, будто он уже давно ищет то, что куда-то задевал, как человек, который переворачивает вверх дном набитый ящик в поисках паспорта или чековой книжки.

– Я знал вашу жену, – сказал Стайнер. – Вы заставили мистера Кипса меня уволить. Вы погубили жизнь нас обоих.

Мы все трое продолжали стоять молча, в темноте, на снегу. Мы все словно чего-то ждали, но никто из нас не знал, что это будет: издевка, удар или просто уход. Это была та минута, когда мистеру Стайнеру полагалось бы себя проявить, но он этого не сделал. Быть может, он знал, что его плевков так далеко не долетит.

Наконец я произнес:

– Ваш ужин был необычайно удачным.

– Да?

– Вам удалось унижить нас всех. А что еще вы намерены совершить?

– Не знаю.

У меня снова возникло ощущение, что он ждет, чтобы я помог ему. Он произнес:

– Вот вы только что сказали...

Невероятно, но великий доктор Фишер из Женевы ждал, чтобы Альфред Джонс помог ему вспомнить... но что?

– Как вы, должно быть, смеялись, когда я покупал последнюю хлопушку, а вы знали, что получу я только негромкое пуканье, когда ее дерну.

Он сказал:

– Вас я не хотел унижить.

– Значит, это была непредвиденная прибыль, а?

– В мои намерения это не входило, – сказал он. – Вы не из их числа. – И он скороговоркой произнес их имена, словно делал переключку своим жабам: – Кипс, Дин, миссис Монтгомери, Дивизионный, Бельмон и еще те двое, что умерли.

Мистер Стайнер сказал:

– Вы убили вашу жену.

– Я ее не убивал.

– Она умерла потому, что не хотела жить. Без любви.

– Любви? Я не читаю романов, Стайнер.

– Но вы же любите ваши деньги, верно?

– Нет. Джонс подтвердит, что сегодня я большую их часть роздал.

– А для чего вы теперь будете жить, Фишер? – спросил я. – Не думаю, чтобы кто-нибудь из ваших друзей к вам снова пришел.

Доктор Фишер сказал:

– А вы уверены, что я хочу жить? Вот вы хотите жить? На это было что-то непохоже, когда вы брали хлопушки. А вот этот – как его? – Стайнер хочет жить? Да, может, оба вы и хотите. Может, когда дело доходит до дела, и у меня есть желание жить. Не то зачем бы я здесь стоял?

– Что ж, сегодня вечером вы позабавились, – сказал я.

– Да. Это все же было лучше, чем ничего. Ничто – вещь довольно страшная, Джонс.

– Странную же вы избрали мечь, – сказал я.

– Какую мечь?

– Только потому, что вас презирала одна женщина, вы стали презирать весь мир.

– Она меня не презирала. Возможно, она меня ненавидела. Никому никогда не удастся меня презирать, Джонс.

– Кроме вас самого.

– Да... Помню, вы это уже говорили.

– Это ведь правда, не так ли?

Он сказал: – Этой болезнью я заболел, когда вы вошли в мою жизнь, Стайнер. Мне следовало бы приказать Кипсу удвоить вам жалование и подарить Анне все пластинки Моцарта, которые она хотела. Я мог купить и ее, и вас так же, как купил всех остальных – кроме вас, Джонс. Сейчас уже слишком поздно вас покупать. Который час?

– После полуночи, – сказал я.

– Пора спать.

Он минуту постоял, раздумывая, а потом пошел, но не по направлению к дому. Он медленно шел по лужайке вдоль озера, пока не пропал из виду, и его шагов не стало слышно в этом снеговом молчании. Даже озеро не нарушало тишины, волны не лизали берег у наших ног.

– Бедняга, – сказал Стайнер.

– Вы слишком великодушны, мсье Стайнер. Я еще ни к кому в жизни не испытывал такой ненависти.

– Вы его ненавидите, и я, пожалуй, ненавижу его тоже. Но ненависть – это не такая уж важная штука. Ненависть не заразна. Она не распространяется. Можно ненавидеть человека – и точка. Но вот когда вы начинаете презирать, как доктор Фишер, вы кончаете тем, что презираете весь мир.

– Жаль, что вы не выполнили своего намерения и не плюнули ему в лицо.

– Не мог. Видите ли... когда дело к этому подошло... мне его стало жаль.

Как бы я хотел, чтобы Фишер был рядом и слышал, что его жалеет мистер Стайнер.

– Очень холодно тут стоять, – сказал я, – так можно насмерть простудиться... – Но, подумал я, разве как раз этого я и не хочу? Если постоять здесь достаточно долго... Резкий звук прервал мою мысль на середине.

– Что это? – спросил Стайнер. – Выхлоп автомобиля?

– Мы слишком далеко от шоссе, чтобы его услышать.

Нам пришлось пройти всего шагов сто, и мы наткнулись на тело доктора Фишера. Револьвер, который он, по-видимому, носил в кармане, валялся возле его головы. Снег уже впитывал кровь. Я протянул руку, чтобы взять револьвер – он может теперь послужить и мне, подумал я, – но Стайнер меня удержал.

– Оставьте это для полиции, – сказал он.

Я посмотрел на мертвое тело – в нем теперь было не больше величия, чем в дохлой собаке. И этот хлам я когда-то мысленно сравнивал с Иеговой и Сатаной.

17

Тот факт, что я написал эту историю, довольно убедительно доказывает, что, не в пример доктору Фишеру, у меня так и не нашлось достаточно мужества, чтобы покончить с собой; в ту ночь мне и не нужно было мужества, у меня хватало отчаяния, но, так как следствие показало, что револьвер был заряжен только одним патроном, мое отчаяние мне не помогло бы, даже если бы мсье Стайнер и не завладел оружием. Мужество губит отупляющая повседневность, а каждый прожитый день так обостряет отчаяние, что смерть в конце концов становится бессмысленной. Я чувствовал близость Анны-Луизы, когда держал в руке виски и потом, когда выдергивал зубами язычок хлопушки, но теперь я потерял всякую надежду, что когда-нибудь ее увижу. Вот если бы я верил в бога, я мог бы мечтать, что мы вдвоем когда-нибудь обретем этот *jour le plus long*. Но при виде мертвого доктора Фишера и моя хилая полувера как-то совсем усохла. Зло было мертво, как собака, и почему, скажите, добро

должно обладать большим бессмертием, чем зло? Не было никакого смысла отправляться вслед за Анной-Луизой, если дорога ведет в ничто. Пока я живу, я могу хотя бы ее вспоминать. У меня были две ее любительские фотографии и записочка, написанная ее рукой, где она назначала мне свидание, когда мы еще не жили вместе; было кресло, в котором она сидела, и кухня, где она гремела тарелками, пока мы не купили посудомойку. Все это было как мощи, которые хранятся в католических церквях. Однажды, когда я варил яйцо на ужин, я поймал себя на том, что повторяю слова, сказанные священником на ночной мессе в Сен-Морисе: «Всякий раз, когда вы станете это делать, вы это сделаете в память обо мне». Смерть уже не была выходом – она была несообразностью.

Иногда я пью кофе с мсье Стайнером – он не пьет спиртного. Он рассказывает о матери Анны-Луизы, и я его не прерываю. Я даю ему выговориться, а сам думаю об Анне-Луизе. Враг наш мертв, и ненависть наша умерла вместе с ним, оставив нас с нашими столь разными воспоминаниями о любви. Жабы все еще живут в Женеве, и я стараюсь как можно реже бывать в этом городе. Однажды возле вокзала я встретил Бельмона, но мы не заговорили. Я много раз встречал и мистера Кипса, но он меня не видит, уставясь взглядом в тротуар, а единственный раз, когда я столкнулся с Дином, он был слишком пьян чтобы меня заметить. Только миссис Монгомери раз подвернулась мне в Женеве и весело окликнула меня из двери ювелирного магазина: «Не может быть, да это ж вы, мистер Смит!» – но я сделал вид, что не слышу, и поспешил дальше, на свидание с покупателем из Аргентины.